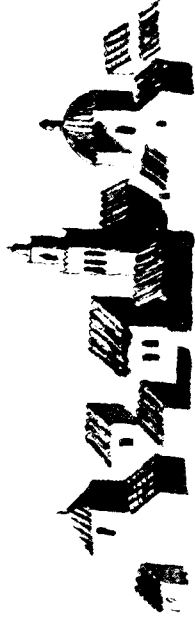


ХУАН РАМОН ХИМЕНЕС

# ПЛАТЕРО

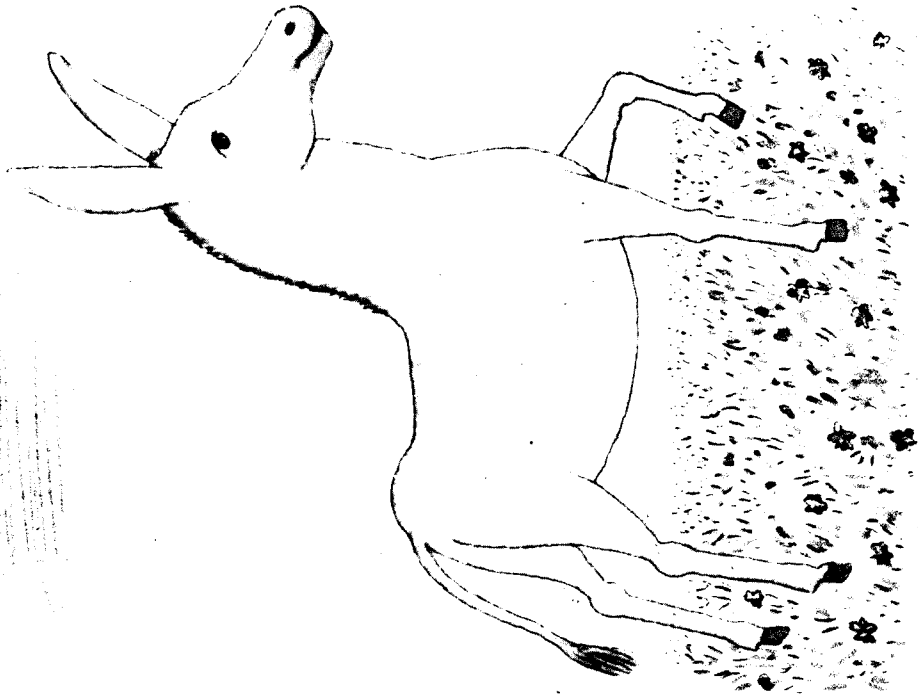
И  
В  
АНДАЛУЗСКАЯ  
ЭЛЕГИЯ

ПЕРЕВОД С ИСПАНСКОГО А. ГЕЛЕСКУЛА



РИСУНКИ С. БАРХИНА

Москва "Детская литература" 1981



И (Исп)  
Х 46

*Памяти АГЕДИЛЫ,  
бедной дурочки с улицы Солнца,  
той, что дарила мне груши и гвоздики.*

Juan Ramón Jiménez  
PLATERO Y YO

Послесловие Г. В. Степанова



70803—417  
Х \_\_\_\_\_ 402—81

М101(03)81

А 2908

© Перевод на русский. Послесловие. Иллюстрации.  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1981 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  
АСТЫНАЯ БИБЛИОТЕКА  
РСФСР

## ПЛАТЕРО

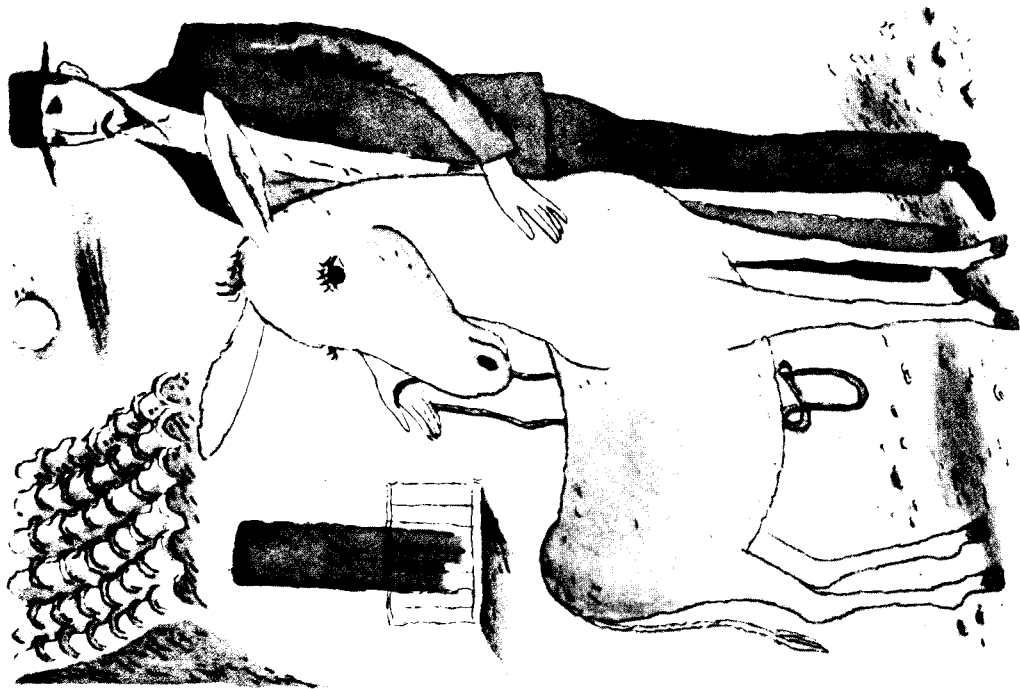
Платеро маленький, мохнатый, мягкий — такой мягкий на вид, точно весь из ваты, без единой косточки. Только глаза у него кристально твердые, как два агатовых скарабея...

Я снимаю уздечку, и он бродит лугом и рассеянно, едва касаясь, нежит губами цветы, розовые, голубые, желтые... Я ласково окликаю: «Платеро?» — и он бежит ко мне, и радостная рысца его, похожая на россыпь бубенцов, словно смеется...

Он неженка и ластится, как дитя, как девочка, но сух и крепок телом, точно каменный. Когда воскресным днем я проезжаю городскую окраину, люди из селений, приодетые и степенные, медленно провожают его взглядом:

— Как литой...

Да, он как литая сталь. И сталь, и лунное серебро.



## КОНЮШНЯ

Когда я в полдень захожу проведать Платеро, прозрачный луч зажигает в мягком серебре его крупа золотое пятно. Все вокруг в изумрудных отсветах, и тускло зелен от них земляной пол, на который ветхая крыша каплет яркими огненными монетами.

Диана, скользнув под ногами Платеро, летит ко мне, плясунья, и кладет лапы на грудь, пытаясь лизнуть в губы розовым язычком. С выстула кормушки настороженно смотрит коза, по-женски клоня точеную голову. А Платеро, который шумно встречает меня еще до того, как войду, уже рвется с привязи, радостный и яростный разом.

Слуховое окно, слепа радужным богатством зенита, на миг уводит из этого уюта, вверх по лучу, в небо. Я встаю на каменный приступок и выглядываю наружу.

Зеленый мир тонет в лениво расцветающем пламени, и в ясной синеве, стиснутой рваным стенным проемом, покинуто и нежно звучит колокол.



## ПОМЕШАННЫЙ

Траурно одетый, с назарейской бородкой под низкой черной шляпой, я странно, должно быть, выгляжу на сером руне Платеро.

Когда дорогой к виноградникам я пересекаю солнечный мел окраин, лоснистые кудлатые цыганята, смугло блестя из желтых, зеленых, красных лохмотьев тугими животами, долго вопят, догоняя нас:

— Помешанный! Помешанный!

...Уже зеленеет навстречу поле. И перед огненно-синим, бездонно чистым небом мои глаза — так далеко от моего слуха! — гордо раскрываются, тихо вбирая этот невыразимый певучий покой, нездешний покой горизонта...

И далеко позади, за высоким гумном, мягко глухнут, задыхаясь, прерывистые, резкие, назойливые крики:

— Спя-тил! Спя-тил! Спя-тил!



Густеет, уже туманясь, фиалковая ночь. Зеленые и мальвовые отсветы смутно теплятся за колокольней. Дорога поднимается, полная теней, бубенчиков, запаха трав и отзвука песен, усталости и нетерпения. Вдруг темная фигура, высветив угольком сигары грубое лицо под фуражкой таможенника, выходит из хибарки, затерянной в мешках угля. Платеро пугается.

— При себе что-нибудь есть?

— Да вот... Белые бабочки...

Он целится в корзину железным щупом, и я не противлюсь. Открываю переметнутую сумку — пусто. И духовный провиант, незатейливый и ничей, минует пошленные сборы...



Когда в сумерках я и Платеро, оба продрогшие, въезжаем в лиловую тьму жалкой улицы, сползшей к сухому руслу, бедняцкие дети тешатся страхом, играя в нищих. Один набросил мешок на голову, другой гнусавит, что слеп, третий прикинулся колченогим...

И, с резкой переменчивостью детства, раз уж они одеты и обуты, а матери — сами не ведая как — наскребли поесть, они вдруг чувствуют себя принцами:

— У моего отца серебряные часы...

— А у моего конь...

— А у моего ружье...

Те самые часы, что будят до рассвета, и то ружье, что не убьет голода, и конь, который везет к нужде...

А после — хоровод, в угольной тьме. Хрупким, точной стеклянной струйкой, голосом девочка с нездешним говором, приезжая, заводит высоко, как принцесса:

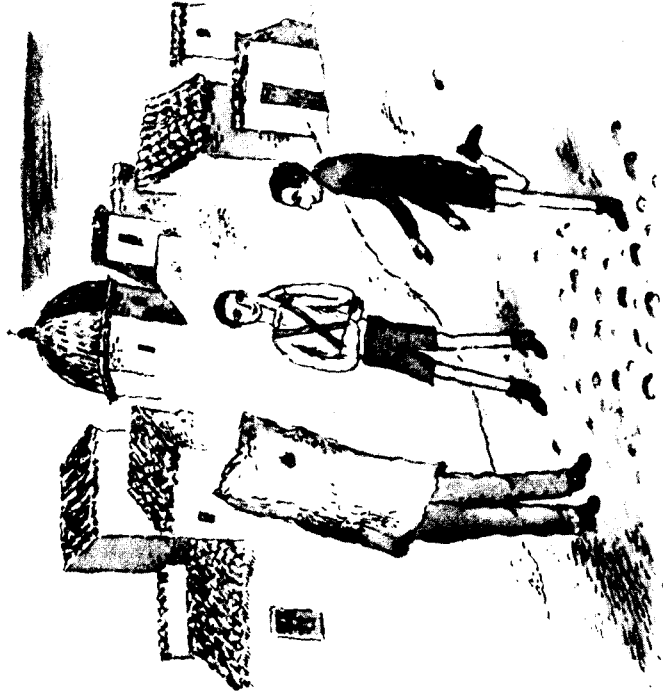
Была-а-а я графи-и-ине-е-ей,  
а ста-а-ала вдо-о-о-во-ой...<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Начало детской хороводной песенки:

Была я графиней,  
а стала вдовой.  
Хочу я влюбиться,  
не знаю, в кого.

...Пойте же, пойте, пока мечтается! Скоро, едва забрезжит юность, весна ужаснет вас, как нищенка, своей зимней личиной.

— В дорогу, Платеро...



## ОЗНОБ

Большая, зеркальная, нас нагоняет луна. Смутно возникают на сонных дугах черные, неведомые козы, замершие в ежевике. Кто-то беззвучный исчезает с нашего пути... Огромный мириадаль с белым облаком на вершине, весь завьюженный лунными цветами, заслонил дорогу от каленых мартовских звезд... Вкрадчивый апельсиновый запах... Сырая тишина. Ведьмин Лог...

— Платеро, до чего ж... холодно!

Платеро, подстегнутый страхом — не знаю, своим или моим, — с разбега входит в ручей и раскалывает луну, брызгая светлыми осколками. Словно рой ледяных роз вьется вокруг, оплетая, чтоб задержать его бег.

И Платеро, поджимая круп, будто за ним гонятся, трусит в гору, чуя нежное и, кажется, такое недостижимое тепло людского жилища, уже близкого...



## БАГРЯНЫЙ КРАЙ

Вершина. И за ней закат, весь обгаренный, окровавленный, израненный своими осколками. Терпко зеленеет на нем сосны, тронутые багряным, а цветы и травы, жгучие и прозрачные, пронизывают тихий этот час влажным мерцающим запахом.

Я не двигаюсь, замороженный сумерками. Плагеро, в черных глазах которого рдеет закат, смиренно останавливается у промоины с багровой, розовой, сиреневой водой, мягко пробует губами это цветное зеркало, и кажется, что стекло начинает течь от прикосновения, и огромный рот его набухает темной кровью.

Привычная местность незнакома и в сумерках становится странной, брошенной и неглядной. Чудится, что вот-вот набредем на затерянный замок... Вечер перерос себя, и час этот, уже тронутый вечностью, сложен, велик и непроницаем...

— В дорогу, Плагеро...



Мы вдвоем возвращались с гор, оба нагруженные:  
Платеро — майораном, я — желтыми ирисами.

Был апрельский вечер. Его прозрачность, золотая на  
закате, стала серебряной и светилась ровно и стеклянно.  
В распахнутом небе, изумрудно сквозя, густела синева.  
Я возвращался грустный...

Чем ниже мы спустились, тем выше уходила про-  
зрачность и внушительней казалась городская коло-  
кольня в ярких изразцах. Она выглядела вблизи, как  
Хиральда<sup>1</sup> издалека, и моя тоска по большому миру,  
обостренная весной, грустно утешалась.

Возвратный путь... откуда? зачем? куда?..

Но все сильней в теплый свежести сумерек пахли  
ирисы — тем запахом, настойчивым и смутным, когда  
цветка не видно и цветет один запах, насквозь пронизи-  
вая из нелюдимой темноты.

— Душа моя, ирис во тьме! — сказал я.

И вдруг ощутил под собой Платеро — позабытого,  
словно он был моим телом.

<sup>1</sup> Хиральда — знаменитая колокольня севильского собора.



Как ярко и душисто!  
Как пастбища смеются!  
Как утро голосисто!

(Народный романс)

В утреннем полусне я изнемог от осатанелого дет-  
ского гвалта. Наконец, разбуженный и злой, вскакиваю  
с постели. И только тогда, взглянув в открытое окно,  
понимаю, что это птицы.

Благодарный голубому дню, выбегаю в сад. Вольная  
пернатая слевка беспечно и несмолкаема. Вьет ласточ-  
ка в колодце витиеватую трель, на сбитом апельсине  
свищет дрозд, пыльная иволга не молкнет, облетая дуб-  
ки, на вершине эвкалипта долго и дробно смеется ще-  
гол, а в гуще сосны самозабвенно ссорятся воробьи.

Что за утро! Солнце зажгло землю своим серебря-  
ным весельем, и бабочки ста оттенков вьются повсюду,  
по цветам, по комнатам: едва влорхнут — и уже там,  
у родника. По всей округе, насколько хватает глаз, кипя,  
взрываясь и хрустя, расцветает молодая, крепкая  
жизнь.

Мы словно в гигантских светозарных сотах — в жар-  
кой сердцевине огромной пламенной розы.





Дети водили Платеро к тополиному ручью и теперь, дурачась и безудержно смеясь, гонят его назад, нагруженного желтыми цветами. Там, в низине, их окатило дождем — из мимолетного облака, затенившего луг злотой и серебряной канителью, плакучими струнами, на которых трепетала радуга. И все еще плачут на влажной спине осла мокрые колокольчики.

Счастливая идиллия, свежая и сентиментальная! Даже голос у Платеро становится мягче под нежной забрызганной ношей. Временами он оборачивается и выдергивает цветы, те, что может достать. Янтарные и сахарные колокольчики мгновение висят на зеленых от пены губах и отбывают в тугой живот, стянутый подругой. Питаться бы, Платеро, как ты, цветами — и без малейшего вреда!

Неверное апрельское предвечерье!.. Время радужных ливней, оно повторяется в сияющих, живых глазах Платеро всей изменчивой далью, где на закате, над полем Сан-Хуана, вновь расплывается дождем алое облако.



Я и Платеро играли с попугаем в саду моего друга, врача-француза, когда молодая женщина, расстрепанная и растерянная, сбежала к нам по косоугру. Она поймала меня темным тревожным взглядом и моляще спросила:

— Сеньорито, здесь доктор?

За ней появились, задыхаясь и оглядываясь, замызганные дети и, наконец, несколько мужчин, несших еще одного, обмякшего и воскового. Это был охотник, из тех, что бьют оленей в Доньянском заповеднике. Ружье, жалкое старое ружье, стянутое бечевкой, разлетелось, и заряд угодил ему в руку.

Мой друг бережно склонился, снял с раненого рваное тряпье, накиннутое сверху, смыл кровь и стал ощупывать кости и мышцы. Время от времени он оборачивался ко мне:

— *Se n'est rien...!*

Вечерело. Со стороны Уэльвы пахло морем, смолой и рыбой. Упруго округлился на розовом закате изумрудный бархат апельсиновой рощи. В сирени, зеленой и сиреневой, красный и зеленый попугай горел любопытством, кося круглыми глазками.

У бедного охотника блеснули, наливаясь солнцем,

<sup>1</sup> Пустяки... (франц.)

слезы; прорвался задушенный крик. И попугай мгновенно:

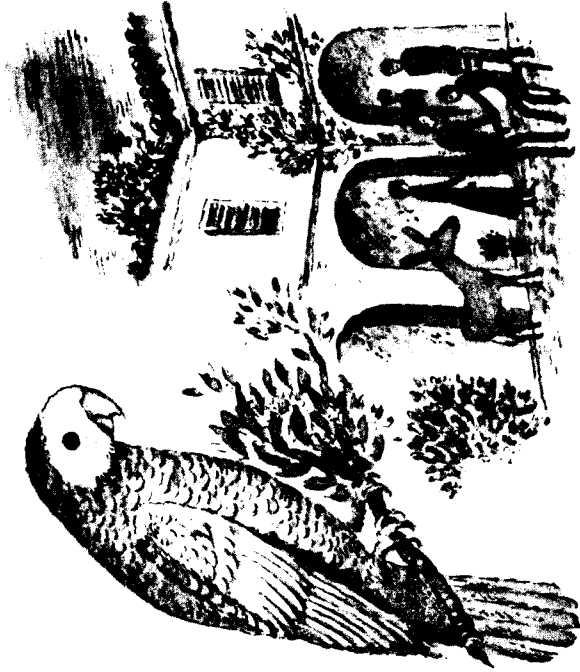
— Се n'est rien...

Мой друг стаянул на раненом бинты... Бедняга:

— О-о-ой!

А попугай, в сирени:

— Се n'est rien... Се n'est rien...



## ШЕЛУДИВЫЙ ПЕС

Изредка, тощй и томящийся, он через сад прокрадывался к дому. Он жил убегая, давно привыкший к камням и крикам. Собаки и те встречали его оскалом. И снова он уходил, медленно и понуро, вниз по склону в полуденный зной.

В тот вечер он увязался за Дианой. Когда я вышел, какой-то злой порыв толкнул сторожа к ружью. Помешать я не успел. С выстрелом внутри, горемычный пес завертелся волчком, в головокругительном вое, и вытянулся под акацией.

Плагеро смотрел на него не отрываясь, откинув голову. Металась, прячась за нами, перепуганная Диана. Сторож длинно оправдывался перед кем-то, неуверенно бранясь и, наверно, раскаиваясь. Траурным казалось солнце, затемненное мутной дымкой, и той же дымкой, только крохотной, мутился живой еще глаз убитого.

Под ударами морского ветра, раз от разу надрывней, плакали навстречу буре эвкалипты, в душной тишине, распластанной по золотым еще полям, над мертвой собакой.



## СВОБОДА

Взгляд мой, занятый встречными цветами, приковала ослепительная птица, которая без конца, над сырым зеленым лугом, поднималась и падала в заарканенном полете.

Мы тихонок подошли ближе, впереди я, за мной Платеро. Там, у тенистого водоема, коварная детвора уже приготовила охотничью сеть. Злосчастный манок, отчаянно взлетая навстречу боли, невольно скликал своих братьев по небу.

Светлое утро сквозило синевой. С ближних сосен сыпались восторженные трели, наплывали и отдавались, не стихая, в лад мягкому золотистому бризу, волнованному вершины. Бедный наивный хор над самой западней!

Я вскочил на Платеро и, прищипив пятками, быстрой рысью погнал его к соснам. Въехав под косматый хмурый полог, я забил в ладони, запел, закричал. Платеро взволновался и взревел от души, раз и другой, одичалым голосом. И глубокое звучное эхо ответило, как из бездонного колодца. Птицы полетели к соседней роще, не переставая петь.

Платеро, под дальние проклятья разъяренной детворы, потерялся мохнатой мордой о мою грудь — так благодарно, что у меня защемило сердце.



## ПОДРУГА

Светлый морской ветер по красному склону взбегает на холмы, смеется в белой россыпи цветов, потом запутывается в начесах соснового гребня и треплет, раздувая, мерцающие паруса лазурной, золотой и розовой паутины... Уже все предвечерье стало морским ветром. И от солнца и ветра так хорошо и мягко сердцу.

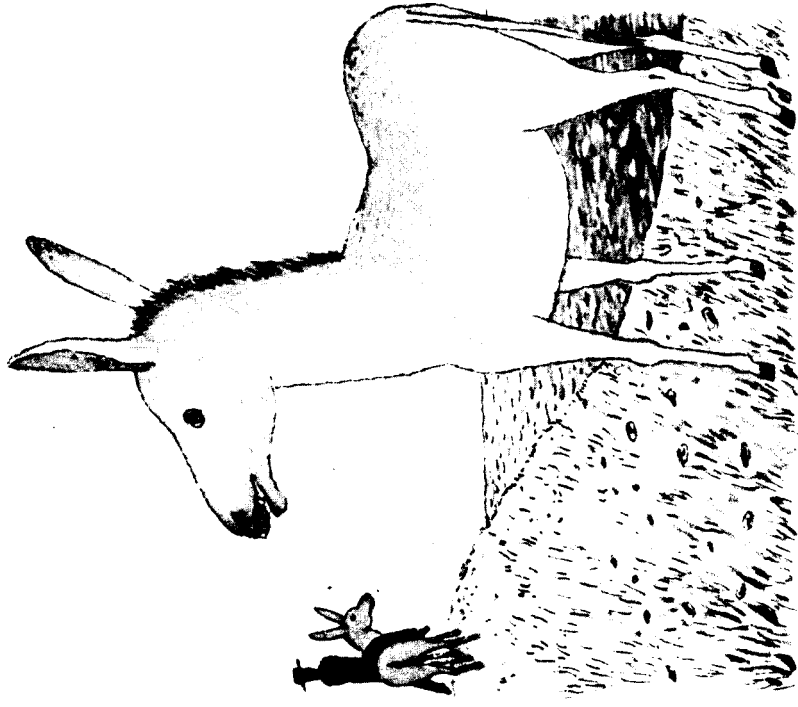
Ловко, легко и весело, как невесомого, несет меня Платеро. Словно под гору, въезжаем на холм. Далеко, за крайними соснами, дрожит, переливаясь, бесцветная лента моря, и кажется, что мы на острове. А внизу, на зеленом лугу, подпрыгивают меж кустов стеноженные ослики.

Чувственная дрожь берedit лощины. Вдруг Платеро, насторожив уши, задирает голову и раздувает ноздри, морщиться до самых глаз, выставляя огромные фасолины желтых зубов. Щерясь на все четыре стороны, он долго ловит какой-то глубокий запах, дошедший до самого сердца. Да. Там, в синеве, стройная и серая, уже нашлась ему подруга. И два слитных голоса протяжно и звонко ломают фанфарами светлую тишину, долго замирая сдвоенными перекатами.

Бедный Платеро, я вынужден пресечь его любовные планы. И деревенская красавица, грустная, как и он, провожает нас агатовыми глазами с отгравированной в них окрестностью. А Платеро строго и

трусит, ежеминутно сляясь повернуть, и дробный цокот его присмиренной рысцы звучит упреком:

— Просто не верится! Просто не верится!



## ЧАХОТОЧНАЯ

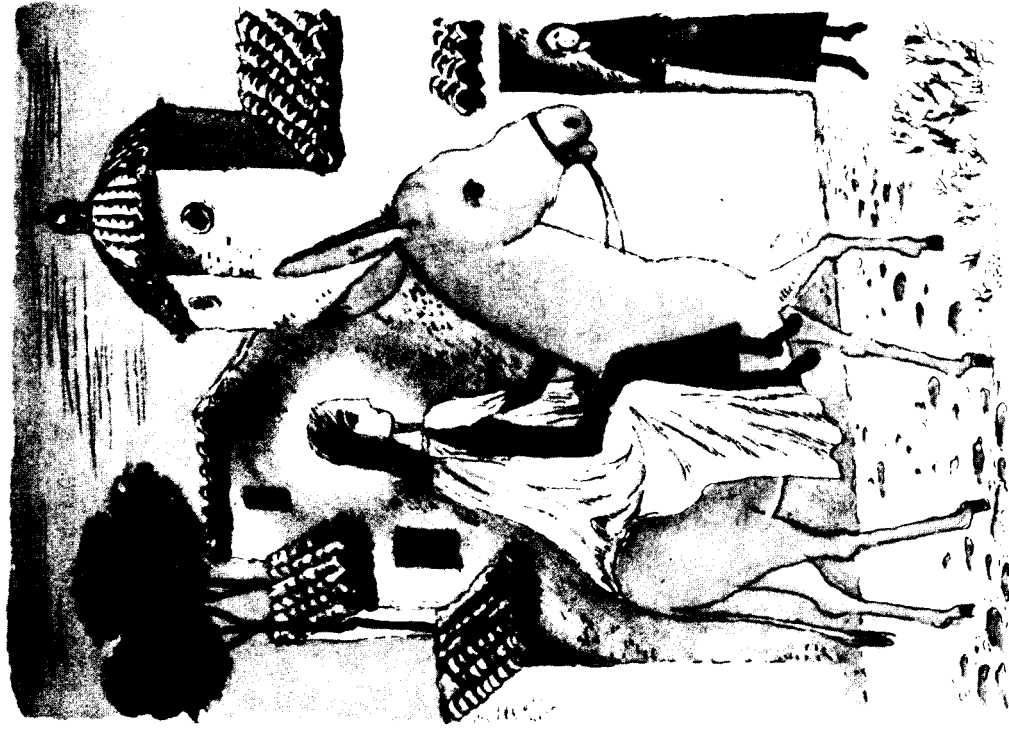
Прямая, с бескровным и матовым, как вялый жасмин, лицом, она сидела на своем сиротливом стуле в белой, холодной спальне. Врач велел ей выходить за город, на солнце этого ледяного мая, но она не смогла.

— Как дойду до моста — вон того, сеньорито, который рядом! — так и задыхаюсь...

Детский голос, тонкий и надломленный, устало сник, как иногда сникает летом ветер.

Я предложил ей для прогулки Платеро. И когда девочка поднялась на круц, как засмеялось оно, это острое лицо покойницы, — одни черные глаза и белые зубы!..

На порогах замаячили женщины, глядя вслед. Платеро шел тихо, словно нес на себе хрупкий хрустальный цветок. Девочка, обряженная, как святая, в белое платье с багряной шнуровкой, преображенная лихорадкой и надеждой, казалась ангелом, который минует гордок дорогой южного неба.



Поднимись на откос, вот сюда, Платеро. Побыстрой, дадим дорогу бедным старухам...

Идут они, наверно, с побережья или с гор. Одна слекая, и две других ведут ее под руки. К дону Луису, врачу, или в больницу... Смотри, как осторожно они пробираются, как чутко стерегут каждое движение слепой. Кажется, что и смерти они боятся одной на троих. Видишь, Платеро, как их протянутые руки словно раздвигают воздух, с такой смешной ласковостью отводя мнимую опасность, даже самую легкую веточку, опущенную цветами?

Стой спокойно, свалишься... Вслушайся в их жалобную речь. Это цыганки. Видишь их яркие, с оборками, платья в горошек? Они держатся прямо, не утратив, несмотря на годы, стройности. Землистые, потные, грязные, они тонут в пыли под полуденным солнцем, но исхудалая стойкая красота все еще с ними, как бесслезная, строгая память.

Смотри на них, Платеро. Как доверчиво несут они старость навстречу жизни, пронизанные этой весенней порой, когда золотисто зацветает репейник в нежной дрожи кипучего солнца!



У большого ручья, разбухшего от недавних ливней, встретилась нам увязшая повозка, почти скрытая грузом апельсинов и травы. У колес, оборванная и грязная, плакала девочка, сясьясь помочь ослику — увы, намного чушлей и слабей Платеро. Ослик, наперекор стихиям, безнадежно пытался выволочь повозку, под рыдающие крики девочки. Старание было бессильным — как детская отвага, как усталый ветер, обморочно сникший среди цветов.

Я поглядел Платеро и, как сумел, подиряг его к повозке, впереди хилого собрата. Ласковое поुकание — и Платеро одним рывком выволол повозку и осла из хлябей на бутор.

Господи, как улыбунулась девочка! Словно закатное солнце, расколотое в сырых облаках на куски янтаря, зажглось в ее чумазах слезах.

С этой заплаканной радостью она протянула мне два отборных апельсина, точеных, тугих, тяжелых. Я благодарно взял и отдал один щуплому ослику — в утешение, другой Платеро — в награду.



## СОСНА НА ВЕРШИНЕ

Где бы я ни остановился, Платеро, мне кажется, что стою под ней; к чему бы ни приближался — городу, любви или счастью, — кажется, что иду к ее широкой щедрой зелени на скалистом Венце, в огромной синеве с белыми облаками. Это зеленый маяк в неверном море смут, мой и могоерских рыбаков на бурных отмелях, вечная вежа моих нелегких дней, в конце каменистого красного склона, который штурмуют нищие дорогой в Сан-Лукар.

Вспомню ее — и вновь наполнюсь силой, передохнув в тени воспоминания. Она единственное, что не перестало быть большим, пока я рос, и стало только больше. Когда ей обрубили ветку, надломленную ураганом, я словно лишился руки, и часто, настигнутый неожиданной болью, я думаю — это больно сосне.

Дереву на скалистом Венце пристало зваться великим, подобно морю, небу и сердцу. Под ним, как под небом, как над морем или в тоскующем сердце, провожая взглядом облака, проходят поколения. В часы рассеянных мыслей и своеобразных образов или в те мгновения, когда все вдруг видится заново, моя сосна предстает мне из вечности, еще шумней и огромней, и, колеблясь, зовет забыться в ее покое, как последняя, верная и вечная цель, конец моих скитаний по жизни.



Девочка, дочь углежого, грязная и красивая, как монета, — вороненные глаза и губы цвета крови, обменные сажень, — сидит на черенице перед лачугой, баюкая брата.

Дрожит майская пора, огненно-яркая, как недра солнца. В ослепительный покой врывается клокотание похлебки в полевом котле, весенняя горьчка Конского луга, смех ветра в гуще приморских эвкалиптов.

Проникновенно и нежно угольщица поет:

Дремлет ми-и-лмый, засыпа-а-ает,  
божьей ма-а-а-терью хра-а-ним...

Пауза. Ветер в деревьях...

...и пока-а-а он засыпа-а-ет,  
засыпа-а-аю вместе с ни-и-и-им...

Ветер... Платеро, мягко переступая через горелые поленья, потихоньку подходит. Потом ложится на черную землю и под медленный материнский напев забывается сном, как ребенок.



У Конского луга Платеро вдруг захромал. Я сирогнул и опустился на землю...

— Что случилось, малыш?

Правую переднюю ногу он держал приподнятой, ослабленно и невесомо, едва касаясь копытом раскаленного песка.

Я согнул ее в бабке — наверняка бережней, чем старый лекарь Дарбон, — и осмотрел красноватую мякоть. Длинный зеленый шип молодого апельсинного дерева вошел в нее, как изумрудный стилет. Вздрагивая от чужой боли, я вытащил занозу и повел беднягу к желтым ирисам над водой, чтоб ручей своим проворным и прозрачным язычком заливал ранку...

Потом мы шли к белеющему морю, впереди я, сзади Платеро — еще прихрамывая и нежно тычась в мою спину.





## КОЛОДЕЦ

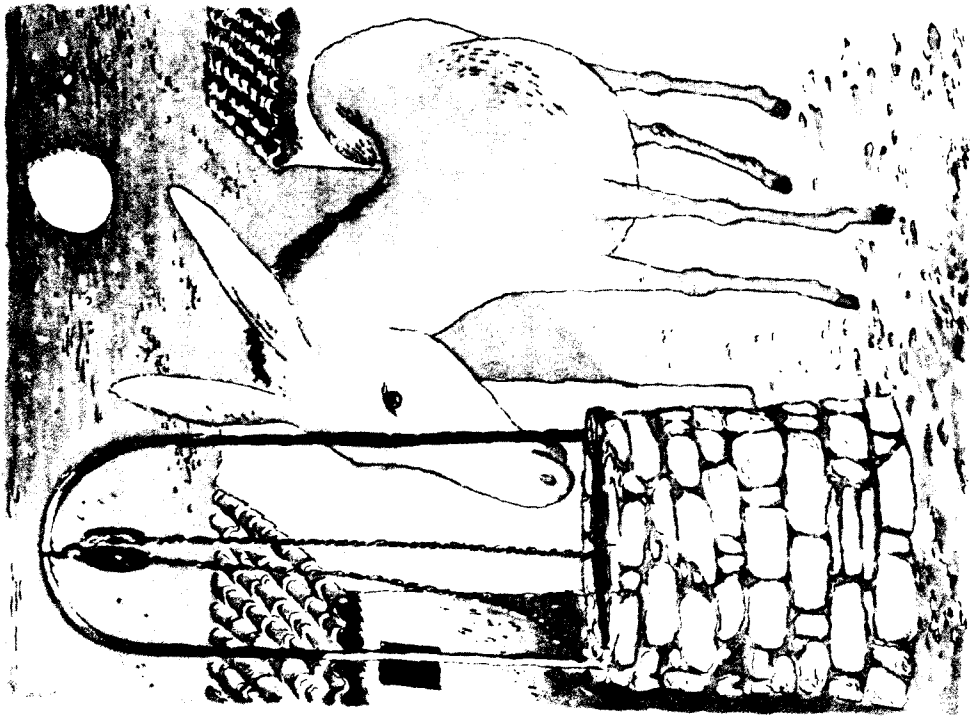
Колодец... Какое гулкое слово, Платеро, какое оно глубокое, прохладное, темно-зеленое! Окружное звучащее словно вращается, сверля землю навстречу холодной воде.

Вглядись. Каменная закраина украшена и расколота смоковницей. Внутри, где достает еще рука, расцвел в позеленелых камнях синий цветок с ярким запахом. Еще ниже свила гнездо ласточка. А дальше, в замершей тени, зеленый чертог и тихое озеро, которое встречает брошенный камень сердитым гулом. И в конце — небо.

(Находит ночь, и там, на дне, загорается луна в зыбком бисере звезд. Как тихо! Жизнь ушла дорогами в темные дали. Душа уходит колодецем в темную глубину. Взгляд теряется в ней, он уже по ту сторону сумерек. И кажется, что выходит из колодезной бездны великий дух ночи, хранитель земных тайн. Глухой загадочный лабиринт, непроглядный сад, замороженный и завораживающий!)

— Платеро, если однажды я кинусь в этот колодец, то, поверь, не для того, чтоб умереть, а чтоб поймать звезду.

Платеро, томясь жаждой и нетерпением, возвысил голос. Из колодца, перепуганная, суматошно и бесшумно вылетает ласточка.



Над мертвой жгучей сущью огромного двора, где каждый осторожный шаг насквозь пропитывает белой мучнистой пылью, так свежо и славно смотрятся вдвоем ребенок и родник, две замкнутых души, сведенные вместе. Хотя вокруг ни единого дерева, в груди, словно на написанное светом на берлинской лазури неба, отдается слово ОАЗИС. Уже с утра стоит полуденный зной, и все нилит свою оливу цикада в саду Святого Франциска. Солнце припекает мальчику голову, но он, завороченный водой, не чувствует ничего. Припав к земле, он подставил руку под живую струю, и вода возводит на ладони зыбкий прохладный дворец, отраженный в черных, восторженных глазах. Он бормочет себе под нос и скребет то там, то сям под лохмотьями свободной рукой. Дворец, неизменный и вечно новый, иногда колеблется. И мальчик замирает, съезживается, собирается в комок, чтоб ни единый толчок крови, как единственный сдвинутый кристаллик в чуткой мозаике калейдоскопа, не отнял у воды тот ее первый, нечаянно пойманный облик.

Платеро, не знаю, поймешь ли ты, что скажу, но этот ребенок держит на ладони мою душу.



Не знаю, Платеро, можешь ли ты видеть фотографияю. Мне случалось показывать их крестьянам, и те ничего на них не разглядели. Так вот, Платеро, это Лорд, маленький фокстерьер, о котором ты уже слышал. Вот он — видишь? — в углу крытого дворика греется, среди горшков с геранью, на зимнем солнышке.

Бедный Лорд. Его привезли из Севильи, где я учился тогда живописи. Был он белый, почти бесцветный от яркого света, круглый, как женское бедро, и кипучий, как вода из-под крана. По белому, там и сям, замершими бабочками — черные мазки. Глаза, две маленькие бездны благородства, светились. В него охотно всеялся бес. И тогда, без никакой причины, он головокружительно носился по дворику, среди белых лилий, которые в мае красовались повсюду, красные, синие, желтые от разноцветного стеклянного навеса, словно те голуби, что рисует дон Камило... А иной раз он забирался на плоские кровли, возбуждая пискливый переполох над гнездами стрижей. Макария мыла его каждое утро, и он сиял, как черепичные зубцы на синем небе.

Когда умер отец, Лорд, не смыкая глаз, провел всю ночь у гроба. Помню, мать заболела, и он лег у ее постели и пролежал, без еды, месяца...

Однажды ко мне пришли и сказали, что его укусила

бешеная собака. И надо отвести его за Крепость и привязать к апельсинному дереву, подальше от людей.

Когда его повели проулком, он оглянулся. И взгляд его, Платеро, все сверлит мое сердце — он живет, как луч утасшей звезды, превозмогая смерть иступленной силой своей горечи... Всякий раз, когда мне больно, я чувствую этот долгий, долгий взгляд, впечатанный в сердце подобно размокшему следу.



## ПРИДОРОЖНЫЙ ЦВЕТОК

Как чист и чудесен, Платеро, этот цветок при дороге. Проходят орды — быки, козы, кони, люди, — а он, такой мягкий и слабый, стоит по-прежнему прямо, светлый и стройный, на своем одиноком бугорке, в той же нетронутой чистоте.

День за днем, когда мы в начале подъема сворачивали напрямик, ты видел его на весеннем посту. Он уже обзавелся птицей, которая при виде нас улетает (зачем?); иногда его крохотный кубок светится каплей дождя; он уже терпит поборы пчелы и нарядную ветреность бабочки.

Жить ему недолго, Платеро, но помнить о нем надо вечно. И жизнь его станет днем твоей весны, весной моих дней... Что только не отдал бы я осени, Платеро, взамен этого дивного цветка, чтоб час за часом его весна, бесхитростно и бесконечно, воскресала нашу!



## СТАРИК С КАРТИНКАМИ

Внезапно и односторонне тишину разбивает сухая дробь барабана.

Потом надтреснутый голос заходится в долгом дрожащем выкрике.

Слышится беготня... Дети галдят:

— Картинчик! Картинчик!

На углу, линзой к солнцу, ждет на маленьких козлах зеленый ящик с четырьмя розовыми флажками.

Старик бьет и бьет в барабан. Молчаливым кружком, пряча руки в карманы или за спину, стоит безденежная детвора.

Кто-то, наконец, прибегает с медяком на ладони. Протискивается вперед и приникает к окуляру.

— Сейча-а-ас будет генера-а-а-ал... на белом коне-ее!.. — отвлечительно затягивает старик и бьет в барабан.

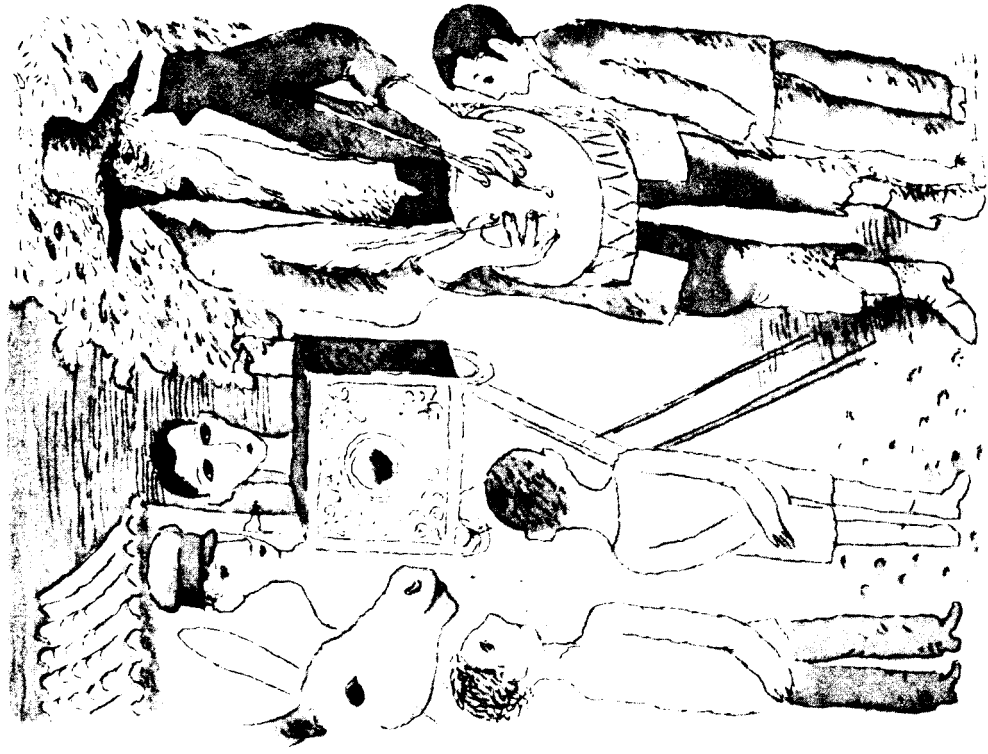
— Барселонский... порт!.. — и новая дробь.

Прибегают еще и еще дети, с медяком наготове, издали тянут его старiku, возбужденные, спеша купить свою фантазию.

Старый зазывала скучно заводит:

— Крепость... Гава-а-аны! — и бьет в барабан.

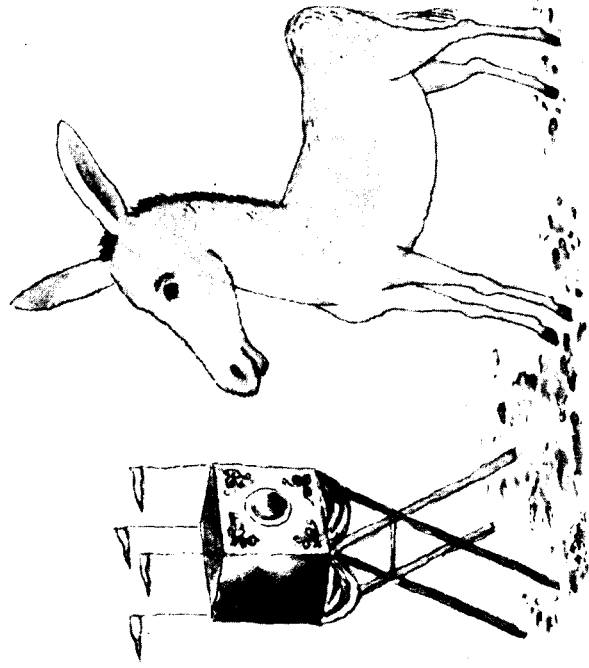
Платеро, который вкупе с девочкой и собакой тоже явился посмотреть, бадуясь, расталкивает детвору



огромной головой. Старик, неожиданно подобрев, кричит ему:

— Гони монету!

Безденежные дети дружно и невесело смеются, глядя на старика с угодливой и покорной мольбой...



## БАСНЯ

Я с детства, Платеро, безотчетно боялся басен, как боялся церквей, жандармов, тореадоров и аккордеонов. Бедные звери, несшие чужь устами баснописцев, были в них так же ненавистны мне, как и в тишине смрадных шкафов кабинета зоологии. Каждое слово, сказанное ими, то есть неким господином, вечно простуженным, желтым и сморщенным, походило на стеклянный глаз, каркас крыла, муляж ветки. Позже, когда в цирках Уэльвы и Севильи увидал я дрессированных зверей, басня, забытая вместе с наградами и прописями в покинутой школе, всплыла как дурной сон моего детства.

С говорящими животными, Платеро, примирил меня, уже взрослого, один баснописец, Жан де Лафонтен, и стих его порою казался мне подлинным голосом сойки, голубя или козы. Но я всегда откладывал, не читая, мораль, этот сухой привесок, огарок, ощипанный хвост концовки.

Само собой, Платеро, ты не осел в расхожем смысле слова, равно как и в любом ином по словарю Испанской академии. И если ты осел (в чем я не сомневаюсь), то осел в моем понимании. У тебя свой язык, и ты не знаешь моего, как я не знаю ни языка розы, ни соловьиного. И потому не думай, глядя на мои книги, что мне взбрет однажды сделать тебя болтливым персонажем ба-

сенки, твою звучность перемешав с пегушей либо журавлиной, чтоб вывести в конце, курсивом, пустую и холдную мораль. Не бойся, Плагеро.



## ХЛЕБ

Я говорил тебе, Плагеро, что душа Могера — вино? Нет, душа Могера — хлеб. И сам Могер, подобно пшеничному хлебу, внутри бел, как мякиш, а снаружи — смуглое наше солнце! — золотист, точно хрусткая корочка.

В полдень, когда солнце печет, весь городок начинает куриться и пахнуть сосной и хлебом. Все раскрывается и движется. Словно огромный рот ест огромный хлеб. И все отдает хлебом — похлебка, сыр и виноград, — оставляя привкус поделуя; хлебом дышит вино, соус, мясо и сам он — такой хлебный. Нередко один, как надежда, или сдобренный несбыточным...

Скрипят фургончики, и возница у приоткрытых дверей бьет в ладони и кричит: «Све-е-ежий хлеб!..» И слышно, как бьются с тупым перестуком буханки о булки, ковриги о бублики, падая в поднятые нагими руками корзины...

И нищие дети тотчас же звонят у дверных решеток или бренчат щекотками и протяжно ноют в полутьму: «Чу-у-уточку хле-е-е-ба!»



## АБРИКОСЫ

Лиловой от солнца и синевы, меловой тесниной Соляного проулка, на повороте закупоренного башней, черной и шербагой с этой, южной стороны, о которую вечно бьется морской ветер, бредут мальчик и осел. Мальчик — крохотный человечек, упрятанный в обильную широкую пляпу, — весь погружен в свое немислимое сердце горца, где одна за другой тихо возникают песни.

...И просил, и моли-и-и-ил,  
и не вымолил я-а-а-а...

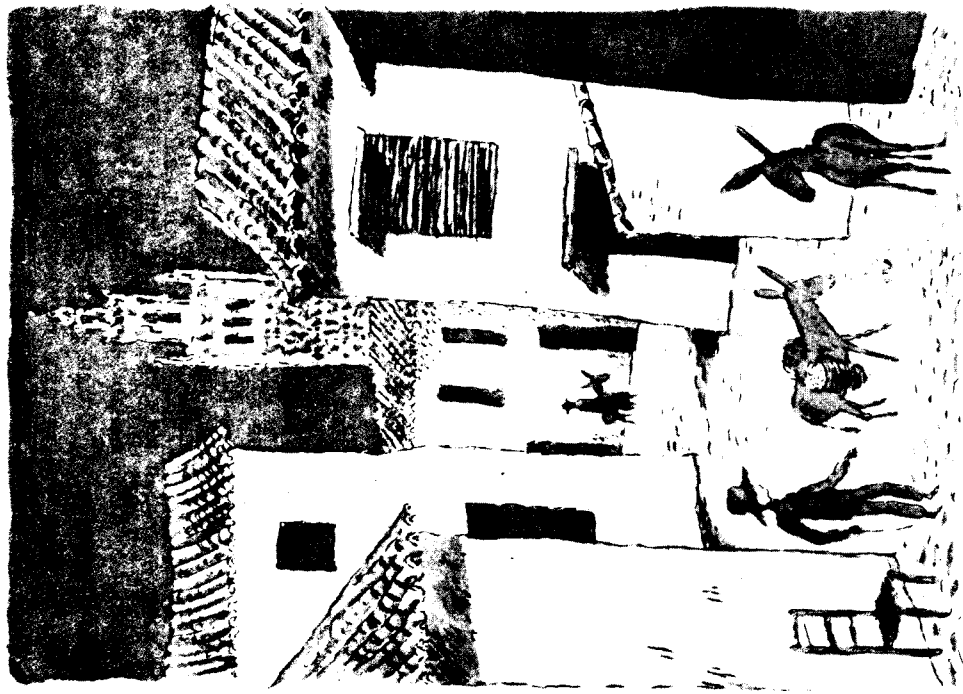
Осел, понукаемый лишь мягкими толчками клади, бредет сам по себе, пощипывая скудную и грязную проулочную траву.

Время от времени мальчик резко останавливается, словно разбуженный улицей, расставляет коротенькие ноги, упирается для крепости босыми глиняными ступнями и, углубляя звук ладонью, затягивает хмурым голосом, который снова становится детским на долгом «о»:

— А-а-абрико-о-о-осы!

Потом, словно выручка ему не дороже плевка, вновь заводит вполголоса задумчивое цыганское:

...Не винил я тебя-а-а,  
и вина не твоя-а-а-а...



И, сам не замечая, бьет хворостинной по камню... Пахнет свежим хлебом и смолистым дымом. Сонно теревит проулки медленный ветер. Внезапный и густой звук колокола, расцвеченный подголоском, венчает третий час пополудни. А вслед за ним перезвон, вестовой праздника, ливнем смыкает бубенцы и рожок почтовой кареты, расколовшей снизу вверх беспробудную тишину городка. И душистый воздух над черепицами, зыбким и лучистый, стеклянно переливается призрачным морем, где тоже ни души и так же тягостно однообразные волны в ослепительной пустоте.

Малыш опять замер, очнулся и затянул:

— А-а-абрико-о-о-осы!

Платеро ни с места. Он смотрит и смотрит на мальчика и, принюхиваясь, тычется в осла. И оба серых собрата объясняются каким-то странно одинаковым движением головы, напоминая белых медведей...

— Ладно, Платеро, я возьму осла у мальчика, а ты отпавишься торговать абрикосами... Идет?

## ПРИЗРАК

Анилья Ла Мантека, обуреваемая своей сочной, кипучей молодостью, щедрой на внезапные радости, любила наряжаться привидением. Она обертывалась простыней, добавляла муки к молочной свежести лица, удлиняла зубы чесночными дольками и после ужина, когда мы подремывали в гостиной, вдруг возникала на морной лестнице, держа зажженный фонарь, притягательная и безмолвная. Выглядело это, как если бы саваном была ее нагота. Да, именно так. То гробовое, что несла она с темных антресолей, наводило жуть, но эта ровная, сплошная белизна странно завораживала...

Не забуду, Платеро, ту сентябрьскую ночь. Гроза уж больше часа билась над городом, как большое сердце, оглушая водой и камнем, до отчаянья упорными вспышками и раскатами. Переполненный водоем заливал двор. Все иные звуки — девятичасовая карета, вечерний колокол, рожок почтальона — давно смолкли. Я, вздрагивая, шел выпить воды и на миг, в зеленой белизне ряда увидел соседский эвкалипт — мы звали его ведьминым деревом, — весь распластанный над черепицей навеса... Жуткий сухой звук, как тень сляпшего крика, от которого мы и вправду ослепли, сотряс дом. Когда мы очнулись, каждый оказался не там, где был раньше, и сам по себе, забывший об остальных. Кто жаловался





на голову, кто на глаза, кто на сердце... Мало-помалу все вернулось на свои места.

Гроза уходила... Из тяжких, доверху разодранных туч хлынула луна и белым огнем разлилась по затопленному двору. Все вышли оглядеться. По наружной лестнице взад и вперед бешено лая, носился Лорд. Мы пошли за ним... Совсем уже внизу, Платеро, возле сырого и приторного ночного цветка, бедная Анилья, одетая привидением, лежала мертвая с не погасшим еще фонарем в обугленных молнией пальцах.

## ПИНОК

Мы собрались на хутор у Большой горы, где клеймили молодняк. Каменный двор, темнее в бездонной и огненной синеве предвечерья, гулко откликнулся свежим конским голосам, женскому смеху, ломкому лаю взбудораженных собак. Платеро, в углу, выходил из себя.

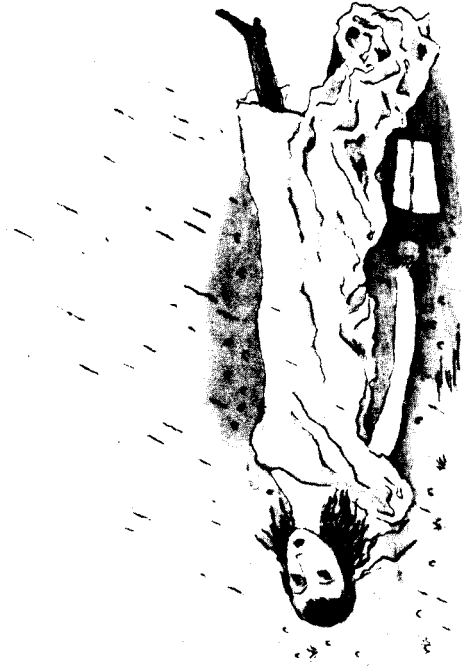
— Ну пойми, — уговаривал я, — тебе с нами нельзя, ведь ты маленький...

Но он так обезумел, что я велел Дурачку сесть верхом и ехать следом...

Конный бег по веселым лугам! На омытой золотом отмели, в разбитых зеркалах ее, смеялось солнце и двоились нелюдимые мельницы. За полновесной и твердой конской рысью дробно катилась торопливая рысца Платеро, которому приходилось, как паровозу из Риотинго, неустанно прибавлять ходу, чтоб не остаться вкупе с Дурачком на пустой дороге. Вдруг словно шелкнул пистолетный выстрел. Платеро ткнулся губами в серый круп статного жеребца, и тот молниеносно лягнул.

Никто не оглянулся, но я увидел, что передняя нога Платеро запыляет кровью. Я спешился и сделал из пучка дрока и колючки жгут. Потом велел Дурачку отвести Платеро домой.

Они уходили вдвоем, нехотя и грустно, по сухому



Не знаю, Платеро, с чем и сравнить... Крикливая броскость кармина и золота, настолько не похожая на испанский флаг над морем или в синем небе. Разве что в синем небе корриды... Мавританщина вокзалов от Уэльвы до Севильи... Оскомина от желтого и красного — как на дешевых обложках, на витринах киосков, на скверных картинках африканской войны. Оскомина подобно той, что вызывали у меня атласные колоды с пошлыми червовыми сердечками, зеленый глянec табачных коробок, винные этикетки, школьные грамоты, шоколадные обертки...

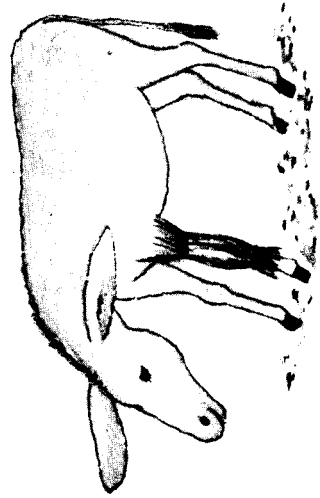
Кто меня привел? Как я попал туда? Мне мерещился зимний полдень, теплый, как труба в оркестрике Моместо... Пахло вином, жеваной колбасой и табаком. Маячил депутат, с алькальдом и Литри, жирным и глянцевым тореро из Уэльвы. Петушиная арена была маленькой и зеленой, и на нее наплывали, переливаясь через край барьера, набрякшие кровью, сырые, как портоха на бойне, лица с багровыми пятнами глаз, распираемых вином и мясистой дрожью соляного сердца. Из этих разбухших орбит рвался крик. Становилось душно, и мир — такой крохотный петушиный мир — был безысходен.

А в просторном луче высокого солнца, который без конца пересекали, словно чертя по пыльному стеклу,

ручью, повернув головы к нашей блестящей кавалькаде...

Когда по возврате с хутора я проведal Платеро, он был подавленным и печальным.

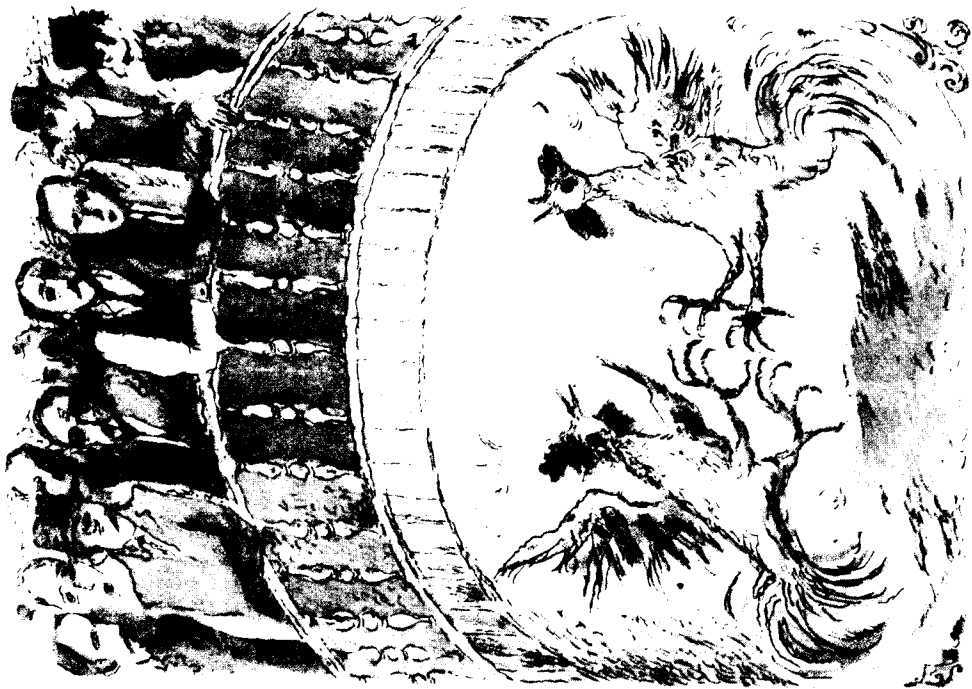
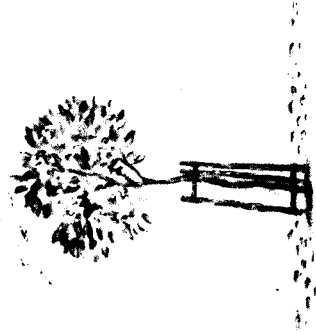
— Убедился, — вздохнул я, — что не место тебе среди взрослых?



ленты тягучих голубых дымков, несчастные английские пети, два кошмарных и колючих карминных цветка, то вдребзги разлетались под людскими взглядами, то в слаженном прыжке слипались, игиисто твердея людской злобой, полосуя друг друга шпорами цвета лимона... или яда. Они были совершенно бесшумны, слепы, их просто не было.

Но я, зачем же там был я — и так томился? Не знаю... Сквозь изодранную парусину, от ветра похожую на кливер фелуки, с такой тоской я вглядывался в апельсинное дерево, которое на вольном солнце поило воздух белизной цветов... Как хорошо — задыхалась душа — быть апельсинным деревом, упрругим ветром, высоким солнцем!

...И все же я не уходил...



В усталой мирной потаенности городских сумерек так волшебнo и грустно угадывать далекое, припоминать едва знакомое! Словно болезненные чары держат весь городок в плену долгого печального раздумья.

Пахнет чистым здоровым зерном, которое кружится на токах туманными холмами, мягко желтея среди прохладных звезд. Работники вполголоса поют, самим себе, дремотно и устало. Сидя в подъездах или на пороге, вдовы думают о мертвых, которые покоятся так близко, за дворами. Дети перепархивают из тени в тень, будто с ветки на ветку птицы...

Порой среди лачуг, в последних мутных отсветах на итукатурке, уже буро подкрашенной керосиновыми фонарями, угрюмо возникают землястые фигуры, бесшумные, мучительные, — пришлый нищий, португалец на пути к лесным расчисткам, а может, и вор, — своим темным, недобрым появлением резко вторгаясь в ту задущевность, которой долгие сиреневые сумерки смягчили все привычное... Дети прячутся, и в тревожной тьме подворотен идут шепотливые пересуды о тех, кто «топит из детей жир для королевской дочки, которая в чачотке»...



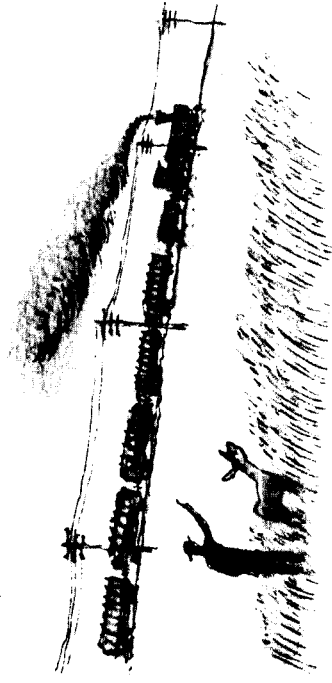
Платеро, вот и увез ее — куда? — тот черный, выстекленный солнцем поезд на высокой насыпи, что ушел, пересекая белые облака, на север.

Мы стояли с тобой внизу в желтой немолчной пшенице, ало забрызганной июльскими маками, уже увенчанными пепельной коронкой. И клубы голубого дыма — помнишь? — затуманив на миг солнце и цветы, бесследно уплыли в никуда...

Мимолетная золотая головка под черной вуалью! Как сновидение в беглой раме окна.

Наверно, она подумала: «Кем они могут быть — этот траурный человек и серебряный ослик?»

А кем еще мы должны быть? Нами... верно, Платеро?



Платеро кровоточит, искусанный слепнями, сочась густой лиловой кровью. Пилит сосну, вечно далеку, дикада... Из необъятного мгновения сна я возвращаюсь к песчаной окрестности, внезапно белой, прозрачной, холодной в мертвенности зноя, как ископаемый ландшафт.

Низкий горный кустарник весь заметён огромными воздушными цветами, млистыми газовыми розами с четырьмя алыми брызагами на каждой, а за ним удруш-ливое марево уже припудрило плоские сосны. Невиданная птица, желтая в чернйй горошек, беззвучно камнеет на ветке.

Сторожа гремят медью, пугая лесных голубей, которые сизой стаей кружат по апельсинным садам... Когда мы входим в большую тень орехового дерева, я раскалываю два арбуза, с долгим сочным хрустом ломаю их алым и розовый снег. Я свою долю ем медленно, слушая, как далеко-далеко, в городке, звонят к вечерне. Платеро сахарную мякоть пьет, как воду.



Малый колокол, то рассыпая скороговорку, то при-тихая, так отдается в утреннем небе, словно синева стала стеклом. И поля, уже заметно сдавшие, золотисто светлеют в этой веселой цветной капели перелетных звуков.

Все, даже сторож, ушли в город, смотреть крестный ход. Мы с Платеро одни. Как покойно, светло и славно! Я отпустил его и лег под сосной, усыпанной безмятежными птицами, с книгой.

В паузы перезвона вступает, все ошутимей набирая звук, кипучая тишина сентябрьского утра. Черно-золотые осы вьются над тяжелыми литыми гроздьями муската, и, словно в красочном превращении, двоятся, на глазах меняясь, цветы и бабочки. И тишь — как огромная светлая мысль.

Время от времени Платеро поднимает голову и смотрит на меня... Я опускаю книгу и смотрю на Платеро...



## ПЕСНЬ ПОЛЕВОГО СВЕРЧКА

Наши с Платеро ночные дороги сдружили нас с песней сверчка.

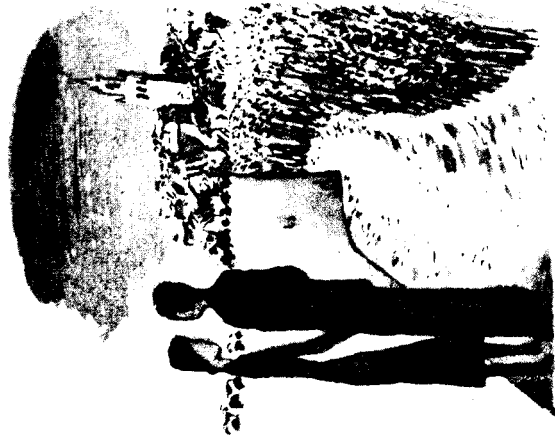
Запев ее, в сумерках, робок, глух и неровен. Песня пробует тон и, вслушиваясь, учится у самой себя, но потихоньку начинает расти, выражается, словно падая в лад пространству и времени. И с первыми звездами в зеленом и прозрачном небе вдруг наливаются вся певучей прелестью одинокого бубенца.

Свежо набегает фиолетовый бриз, ночь раскрывает последние свой цветы, и бродит равниной чистая и чудесная душа синих лугов, нераздельно земных и небесных. И песня сверчка ликует, заволакивает поле, это голос самой темноты. Он не сбивается уже, не смолкает. Словно выплескиваясь из себя, каждый звук двойтся, дробится в себе подобные, в братство темных кристаллов.

Притихшие, проходят часы. На земле мир, и спит крестьянин, высоко в глубине сна различая небо. Где-то у ограды, среди вьюнков, смотрит завороченно, глаза в глаза, влюбленность. Бобовые поля дают знать о себе мягким ароматом, и весточка пахнет, как в ранней юности, открытой и одинокой. И зеленые от луны колосья, волнуясь, дышат ветром пополуночи — первых, вторых, третьих петухов. Песня сверчка изнемогла от звонкости, заглохла, затерялась...



Вот она! О пеньке сверчка на рассвете, когда Платеро и я, продрогшие, торопимся домой по белым от росы тропинкам! Сонно опускается розовая луна. И песня, уже пьяная от луны, одурманенная звездами, темна, таинственна, самозабвенна. Это час, когда траурные тучи, грустно обведенные сиреневым, вытягивают из моря день, медленно и долго...



## В НОЧИ

К небу, где багровеют отсветы городского гулянья, тихо плывут по ветру надрывно-тоскливые вальсы. Нелюдимо и немо маячит колокольня, восковая в облаке световых переливов, голубых, фиолетовых, желтых... А вдали, за темными погребками окраин, закатная луна, лимонная и дремотная, одиноко уходит за реку.

Одни деревья и тени деревьев наедине с полями. Хрупкий голос сверчка, потаенный говор воды, нежная сырость, будто льются изморосью звезды. Из тепла своей конюшни грустно зовет Платеро.

Коза проснулась, и долго не унимается слезный бубенчик. Наконец, зачих... Далеко, у Большой горы, отзывается еще один ослик. Потом еще один, в Малой долине... Лает пес...

Ночь настолько светла, что в саду по-дневному отчетливы краски цветов. У крайнего дома, в багровой дрожи фонаря, сворачивает за угол одинокий человек. Я? Но я здесь. В душистом голубом полумраке, зыбком и золотистом, рожденном луной, сиренью, темнотой и ветром, я вслушиваюсь в мое единственное сердце... Плывет запотелое мягкое небо...

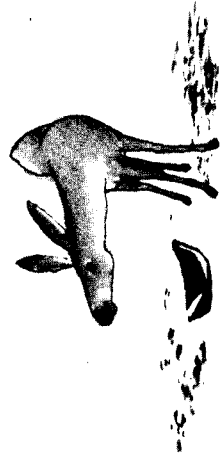


Как печальна вечерняя красота желтого солнца, когда я просыпаюсь под смоковницей!

Сухой бриз, пропыленный цветами, освежает мое погное пробуждение. Большие листья кроткого старого дерева, чутко колеблясь, то затевают, то убирают тени с моего лица. И словно качают меня в колыбели, от тени к свету, от света к тени.

Там, за стеклянной зыбью воздуха, в безлюдном городке, далекий колокол зовет к вечерне. При звуках его Плагеро, укрывший у меня ломоть арбуза, замирает над его сладким алым инеем и смотрит на меня, подрагивая огромными глазами, где липко плавают зеленая мушка.

От его усталого взгляда мои глаза вновь устают... Бриз возвращается, как бабочка, которая хотела бы взлететь, но что-то слипаются крылья... слипаются крылья... мои вялые веки, вдруг померкшие...



Утро на Святого Иакова обложено, как ватой, пельно-серыми облаками. Все в церкви. Одни мы остались в саду — воробьи, Плагеро и я.

Воробьи! Как гомонят они, как колобродят по выюнкам под облачными клубами, с которых порой сыпадают редкие капли, как усердствуют жалкие клювики! Один пал на ветку и тут же канул, оставив по себе зеленую дрожь, другой глотнул капельку неба с поволоности колодца, третий скакнул на черепицу неба с поволоности лузасохших цветках, оживленных пасмурным утром.

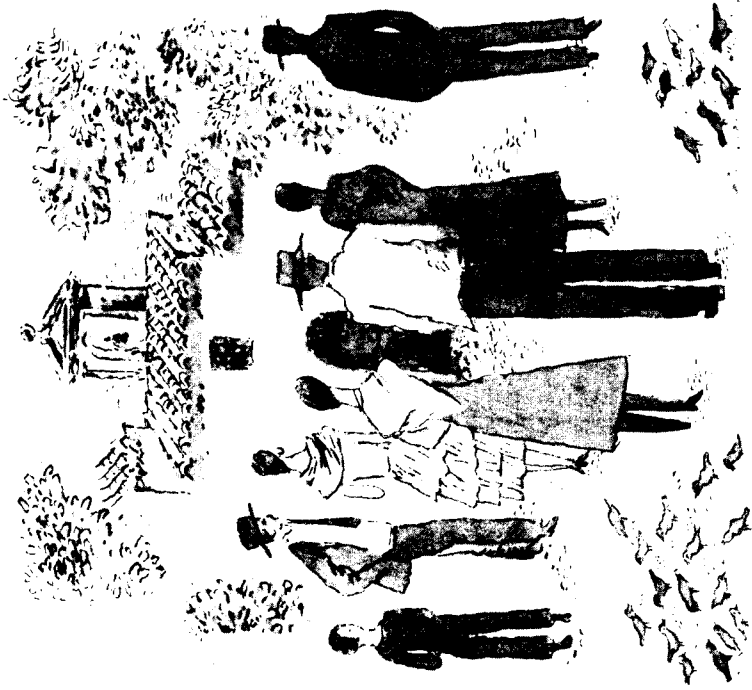
Блаженные птицы без расчисленных праздников! В родственно вольной монотонности колоколов ничего для них не звучит, кроме смутного счастья. Непривредливые, беззаботные, без тех олимпов и эребов, что тешат и страшат бедных рабов человеческих, без никакой морали, кроме собственной, без никакого бога, кроме синевы, они братая мне, кровные, братая.

Странствуют они без денег и пожитков; жилье меляют, когда вздумают; чуя листву, угадывают воду — и стоит только крыльями взмахнуть, как они уже счастливы; для них что понеделник, что суббота, купаются они когда и где хотят, и любовь их безымянна и стихийна.

И когда люди, злосчастные люди, уходят, запирая двери, на воскресную мессу, они, как воплощение любви



без догмата, вдруг рассыпаются веселой тарабарщиной, заполняя саду запретого дома, где один небезызвестный им поэт и незлобивый ослик — ты ведь со мной заодно? — глядят на них по-братски.



## ФЕЙЕРВЕРК

К сентябрю мы с вечера устраивались на холме за садовой сторожкой, ночь напролет слушаая праздничный город из душистого затишья, пропахшего водой и туберозами. Валяясь на току, пьяный Пиоза, старый сторож с виноградника, лицом к луне, часами трубил в раковину.

Затемно вспыхивал фейерверк. Сперва слабые игрушечные выстрелы, потом бесхвостые петарды, которые со вздохом раскрывались, как лучистый глаз, изумленный мгновенным цветом лилового, алого, синего поля, и новые огни, которые свивались, поникая плакучей ивой, в багряных каплях света. Какие жаркие павлины, какие воздушные купы роз, какие огненные фазаны в тысяче звездном саду!

Платеро при каждой вспышке вздрагивал, синий, лиловый, красный от летучего света, в волнах которого то росла, то съеживалась на холме его тень и мерцали, испуганно глядя на меня, большие черные глаза.

Когда же из далекого моря голосов, как венец всего, в звезды ввинчивалась золотая корона Крестности, раскручивая гулкой гром, от которого женщины закрывали глаза и затыкали уши, Платеро, голося, кидался как одержимый сквозь виноградные лозы к невозмутимо темным соснам.

## ЛЕТНИЙ САД

Мне захотелось по прибытии в Узьлу, чтобы Платеро увидел Летний сад... Медленно поднимаясь, мы бредем вдоль ограды, в даровой тени платанов и акаций, все еще пышных. Шагу Платеро вторят широкие плиты, блестя глазурию полива, то подсиненной небом, то за-снеженной цветами, которые пахнут, размокая, смутно и тонко.

Как душисто дышит сад, тоже пропитанный влагой, сквозь морозящий плющ решетчатых просветов! Внут-ри царят дети. В их белом водвороте плывет, оглушая красками и бубенцами, прогудочный возок с лиловыми флажками и зеленым козырьком; дымит парходик торговца, весь золотой и гранатовый, с унизанной оре-хами оснасткой; девушка с воздушными шарами несет летучую гроздь зеленых, голубых и алых виноградин; усталый вафельщик изнемогает под тяжестью красного лотка... В небе, сквозь густой, уже тронутый вкрадчи-вой осенью шатер зелени, где заметней стали кипарисы, просвечивает желтая луна в розовых облаках...

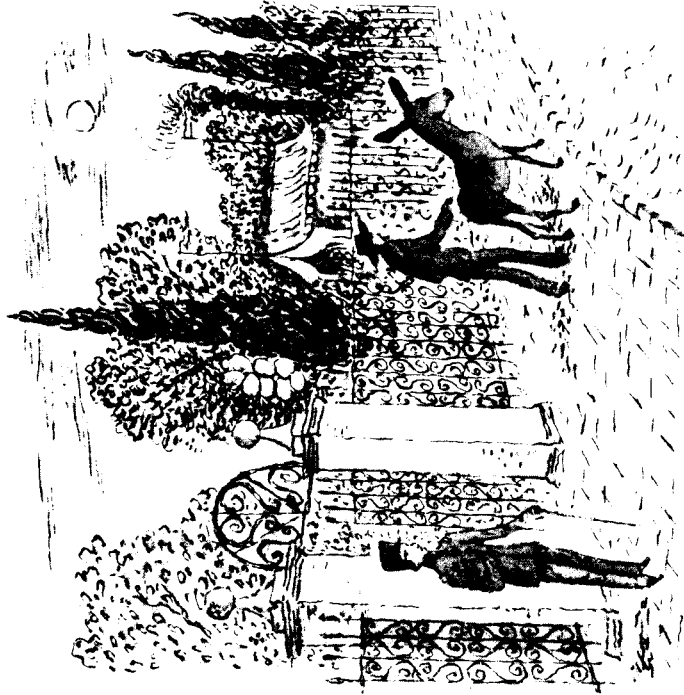
Едва мы входим в ворота, как возникший там синий человек с желтой тростью и большой серебряной луко-вицей на цепочке говорит:

— Ослу нельзя, сеньор, не дозволяется.

— Ослу? Какому ослу? — я шарю глазами вокруг Платеро, привычно забыв о его животной наружности.



— Как это какому, сенЬор, как это какому!..  
Реальность вернулась, и поскольку Платеро, как  
ослу, не дозволяется, мне, как человеку, не хочется—  
и я бреду с ним дальше вдоль ограды, глядя его и го-  
воря о постороннем...



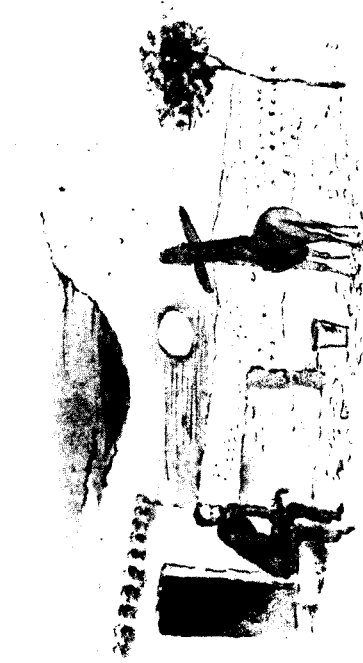
## ЛУНА

Платеро осушил ведро с водой и звездами и праздно побред меж высоких подсолнухов к себе в конюшню. Я ждал на беленом порожке, окутанный теплым запахом гелиотропов. Над навесом, сырым от сентябрьских изморосей, издалека, с дремотных лугов, тянуло крепким сосновым духом. Черная туча, как огромная курица, снесшая золотое яйцо, выронила на холм луну.

Я сказал луне:

...Бесчетны звезды, но луна одна,  
всею одна, и если кто и видел,  
то лишь во сне, как падает она...

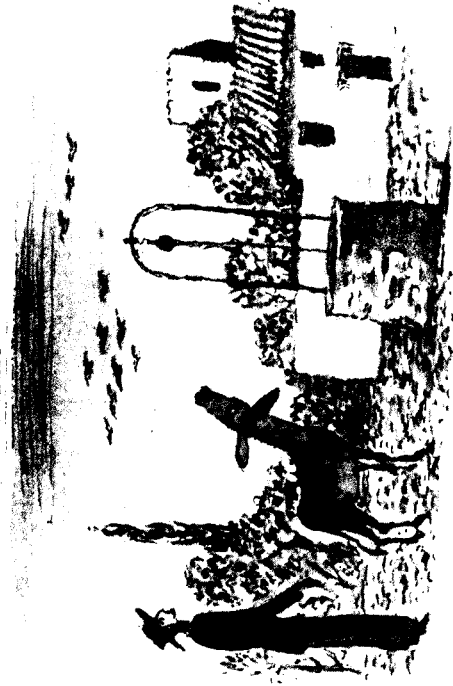
Платеро пристально взглянул на луну и встряхнул ухо, с мягким плотным звуком. Удивленно взглянул на меня и встряхнул второе.



Я вышел напоить Платеро. Неслышная ночь, вся в дымных облаках и звездах, без конца проносила, где-то высоко над тишиной двора, тонкие пересвисты.

Утки. Они летят в глубь земли, уходя от морской бури. Временами, словно снижаясь или нас поднимая, звучат еле слышные крылья и клювы, как в поле, порой, ясно звучат слова того, кто уже далек...

Платеро перестает пить и поднимает голову, совсем как я, к звездам, с безмерной кроткой тоской...



Темна и зловеща в этот лиловый час вершина холма, где, свистя в дудку, чернеет на зелени заката пастушок и дрожит вечерняя звезда. Среди цветов, которые уже неразличимы, и лишь запах, густея, вновь высветляет их из тьмы, грустят не двигаясь плакучие бубенчики отары, разбредшейся на подходе к селению по знакомой низине.

— Ай, сеньорито, мне бы такого осла...

Смутная пора, странно отсвечивая в быстрых глазах мальчугана, делает его смуглей и старинней, словно это один из тех бродяжек, что рисовал славный севилец Мурильо.

Осла бы я отдал. Но как я буду без тебя, Платеро? Выпуклая луна, выплыв из-за скита на Большой горе, нежно омыла луг, где еще бродят отсветы дня, и расцветшая земля становится сном, каким-то древним и прекрасным кружевом, и все выше, все неотступней и печальней скалы и жалобной вода невидимого ручья...

И совсем уж издалека завидует голос пастушонка:  
— Ай-и! Мне бы такого осла-а-а...



## УМЕР КЕНАР

Сегодня на заре, Платеро, в своей серебристой клетке, у ребят умер кенар. Правду сказать, бедняга был уже слишком стар. Целую зиму, как помнишь, он просидел молча, спрятав головку в перья. С возвратом весны, когда солнце распахнуло сад и зацвели лучшие розы, ему захотелось тоже порадовать воскресшую жизнь, и он запел, но голос, чахлый и тусклый, как у рассохшейся флейты, задохнулся.

Старший из ребят, тот самый, что смотрел за ним, нашел его в клетке похолодевшим и теперь, то и дело всхлипывая, торопливо повторял:

— Ему же всего хватало — и воды, и в еде не нуждался!

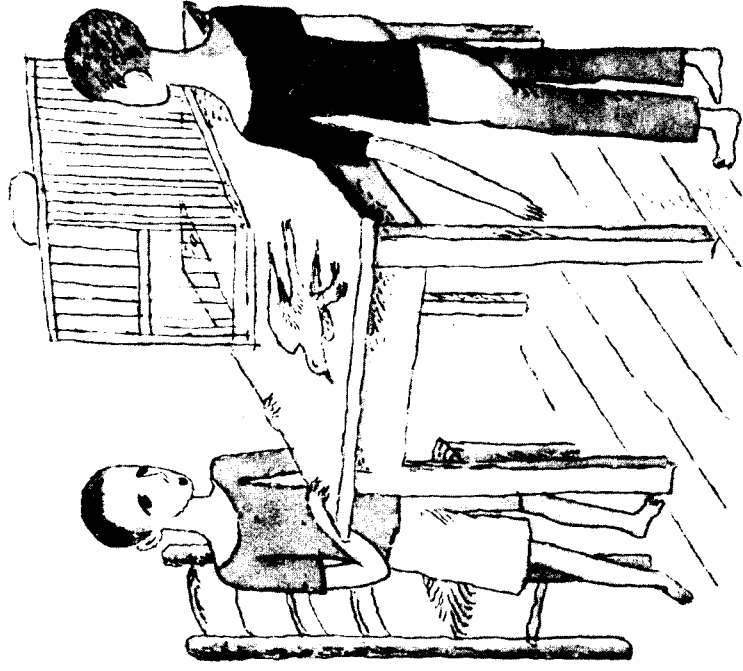
Да, Платеро. Ни в чем не нуждался. Он умер от того, что умер.

Платеро, есть у птиц рай? Зеленый уголок на синем небе, с душами птиц, лимонных, белых, розовых, зеленых?

Послушай, ближе к ночи, ты, я и дети, вместе отнесем умершего в сад. Сейчас полнолуние, и в его смутном серебре бедный певец, на простодушных ладошках Бланки, покажется сухим лещестком желтого ириса. И мы похороним его под высоким розовым кустом.

Быть может, весной, Платеро, нам удастся подглядеть, как вылетит из белой розы птица. Апрельский

воздух отзовется и заворожит дуновением невидимых крыльев и тайной капелью прозрачных, золотых от солнца трелей.

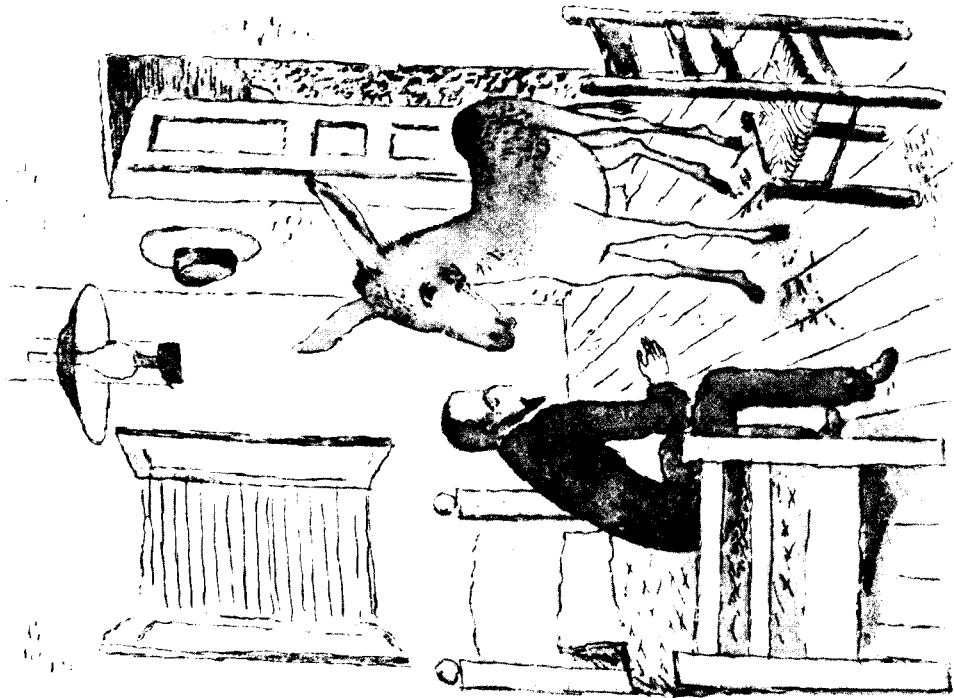


## ОКТАБРЬСКИЙ ВЕЧЕР

Каникулы кончились, и с первыми желтыми листьями дети пошли в школу. Одиноко и пусто. Солнечные комнаты, где тоже вянут листья, кажутся нежилыми. И чудятся то голоса, то дальний смех.

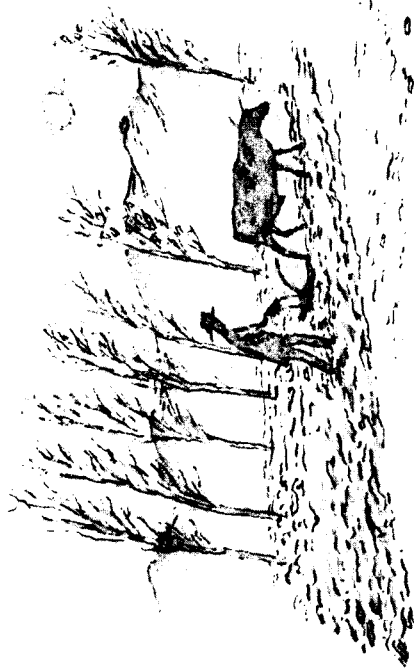
На кусты роз, еще не отцветших, опускается долгий вечер. В последних лучах горят последние цветы, и сад, душистым костром поднимаюсь к закатному зареву, жарко пахнет зажженными розами. Нигде ни звука.

Платеро, скучный, как я, не знает, чем заняться. Потихоньку он подбирается ко мне, нерешительно медлит и вдруг, жестко и сухо цокая по плиткам, доверчиво входит со мной в комнату...



Солнцу, Платеро, уж лень покидать пуховую постель, и крестьяне встают до него. Но оно ведь голое, а дни все холодней.

Как ровно дышит север! Взгляни на сломанные ветки под ногами: так неуклонен напор ветра, что все они до единой параллельно повернуты к югу. Грубый, как оружие, плуг отдался веселым заботам мира, и над широкой сырой тропой, справа и слева, деревья, уверенные, что зазеленеют, озарили прощально, как жаркие золотые костры, наш торопливый путь...



Вон тот!.. Дурной!.. Дурей, чем Пинито!..

Я почти забыл, кто такой Пинито. И вот, Платеро, теперь, когда солнце по-осеннему мягкое и красный огненный песок на валу скорей слепит, чем обжигает, при криках этого малыша я вдруг увидел, как мы взбираемся по кособогу, с вязанками лиловых лоз, к бедному Пинито.

Он возникает в памяти и тут же расплывается. И мне трудно взглядеться. На миг я вижу его, сухого, смуглого, ловкого, со следами красоты, сквозящей в его замыганном убожестве, но едва пытаюсь высветлить его облик, все исчезает, как сон поутру, и я даже не знаю, он ли мне вспомнился... Кажется, это он, полууголый, бежал дождливым утром по Новой улице, сквозь град камней и вопли детворы, и он же, в зимних сумерках, возвращался, свесив голову и то и дело валясь наземь, мимо старого кладбища к Ветряку, в дармовую свою пещеру, ночлежку пришлых нищих, среди мусорных куч и дохлых собак.

— ...Дурей, чем Пинито!..

Чего бы не дал я, Платеро, лишь бы хоть раз, один-единственный, поговорить с Пинито! Бедняга, если верить Макарии, после попойки умер на дне крепостного рва, давным-давно, когда я мало еще что понимал, как ты, Платеро.

Но был ли он и вправду полоумным? И каким, каким же он был?

Он мертв — и нам не встретиться, а ведь ты, Платеро, уже слышал от малыша, чья мать наверняка беднягу знала, что я глухой Пинито.



## ГРАНАТ

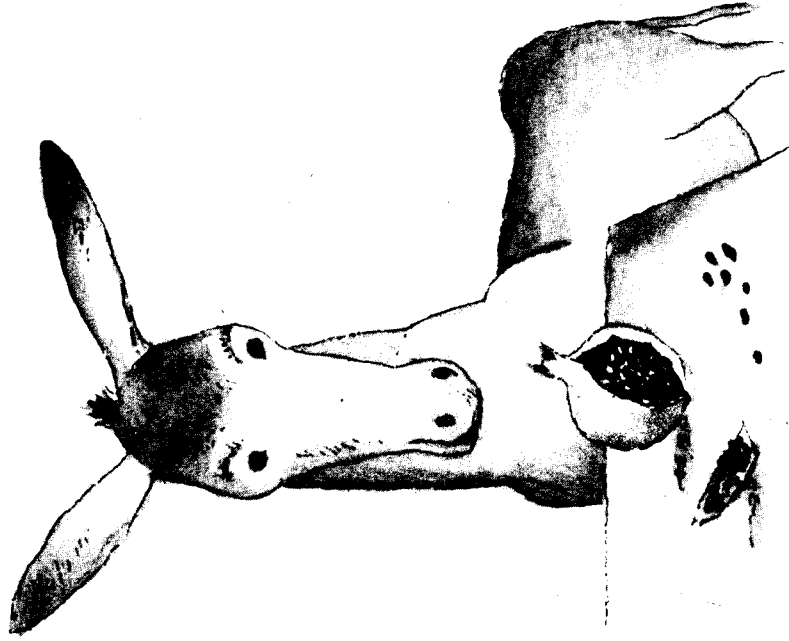
Что за гранат, Платеро! Мне дала его Агедилья, выбрав лучший у себя на Монашьем ручье. Какой еще плод так воплотил бы свежесть воды, которой вскормлен? И столько взрывчатой силы в его зрелом здорвье. Распробуем, Платеро?

Как хорош сухой горький вкус упорной кожуры, жесткой и цепкой, словно корень. И вот первая сладость — расцветный рубиновый проблеск — первых зерен, захваченных кожурой. И в тонкой целене, Платеро, плотное, крепкое, здоровое ядро, соковищица сочных аметистов, твердых, как сердце молодой королевы. Какая роскошь! Бери, Платеро, лакомясь. Зубы блаженно немеют, погружаясь в эту веселую алую сладость... Погоди, не могу говорить. Вкус завораживает, как зыбкий лабиринт узоров калейдоскопа... Всё!

У меня, Платеро, теперь уж нет гранатовых деревьев. Жаль, ты не видел тех, за погребком на улице Цветов... Мы выходили под вечер. За щербатymi оградами сквозили дворики Коралловой улицы, и каждый завораживал по-своему, и за ними виднелся луг и за ним река... Будили эхо трубы карабинеров и кузница в горах... Неведомый, чужой уголок города открывал мне щедрую поэзию своих будней. Садилось солнце, и гранаты горели, как драгоценные камни, у колодца в тени смоковницы, усеянной ящерицами...



Гранаты, плоды Могера, самоцветы его герба! Гранаты в отблесках закатного горнила! Гранаты Сабарьего, Сада Монахинь, Грушевой лощины, тихих низин с немолчною водой, где небо розовеет, как у меня в душе, до самой ночи!



## ЭХО

Здесь так пусто, что всегда кажется, будто кто-то есть. Охотники, спускаясь сюда с гор, ширят шаг и поднимаются на увалы, чтобы дальше видеть. Говорят, наведываясь в наши края, здесь ночевал Парралес, бандит... Красная скала стоит на восход, и порой сидит какой-нибудь забредшей козы врезан на ней в желтую вечернюю луну. Промойна на пустоши, пересыхая лишь в августе, собирает янтарные, зеленые и розовые осколки неба, полуслепшая от камней, которые детвора бросает со скалы в лягушек или просто чтобы гулко взбудоражить воду...

Я придержал на повороте Платеро, под иудиным деревом, которое чернело, заслоняя луг, и в раструб ладоней крикнул:

— Платеро!

Скала пересохшим голосом, еле смягченным близостью воды, ответила:

«Платеро!»

Платеро резко повернул голову, напряженно вскинул и дернулся, готовый рвануться.

— Платеро! — крикнул я вновь.

Скала вновь ответила:

«Платеро!»

Платеро взглянул на меня, взглянул на скалу и, вдруг, осклаенный в зенит, губы гармоникой, разразился нескончаемым ревом.

Скала протяжно и недобро ответила тем же ревом, чуть запаздывая на перекагах.

Платеро снова взревел.

Скала снова взревела.

Тогда Платеро с тупым суматошным упорством, чужой, темный, как ненастье, стал выкручивать шею и падать, с силой сорвать уздечку, убежать, оставить меня, пока я не повел его, тихо уговаривая, и голос его не стал мало-помалу его единственным голосом.



## БРОДЯЧИЙ БЫК

Когда мы с Платеро добираемся до апельсиновых деревьев, в ложине, белой от заиндевелого копытника, лежит тень. Еще не подернут золотом блеск бесцветного неба, и четок на нем тонкий рисунок агав по краю холма. Временами светлый шум, широкий и протяжный, заставляет поднять глаза. Это длинной стаей, воздушно перестраиваясь на лету, возвращаются к оливковой роще скворцы...

Бью в ладони. Эхо... «Мануэль!» Ни души... Вдруг — стремительный гул, налитой и огромный. Сердце колотится в предчувствии всей его громадности. Мы прячемся за старой смоковницей...

Вот он, красный бык, хозяин рассвета. Принюхиваясь, мыча, своенравно круша все на своем пути, он на миг замирает на холме — и долину, до самого неба, полнит отрывистый жуткий стон. Скворцы с шумом, который глушат удары сердца, безбоязненно кружат в розовой вышине.

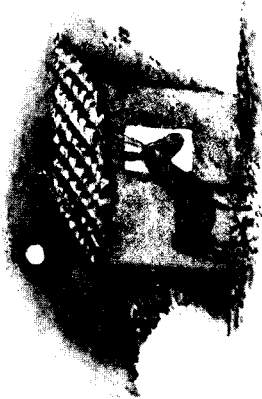
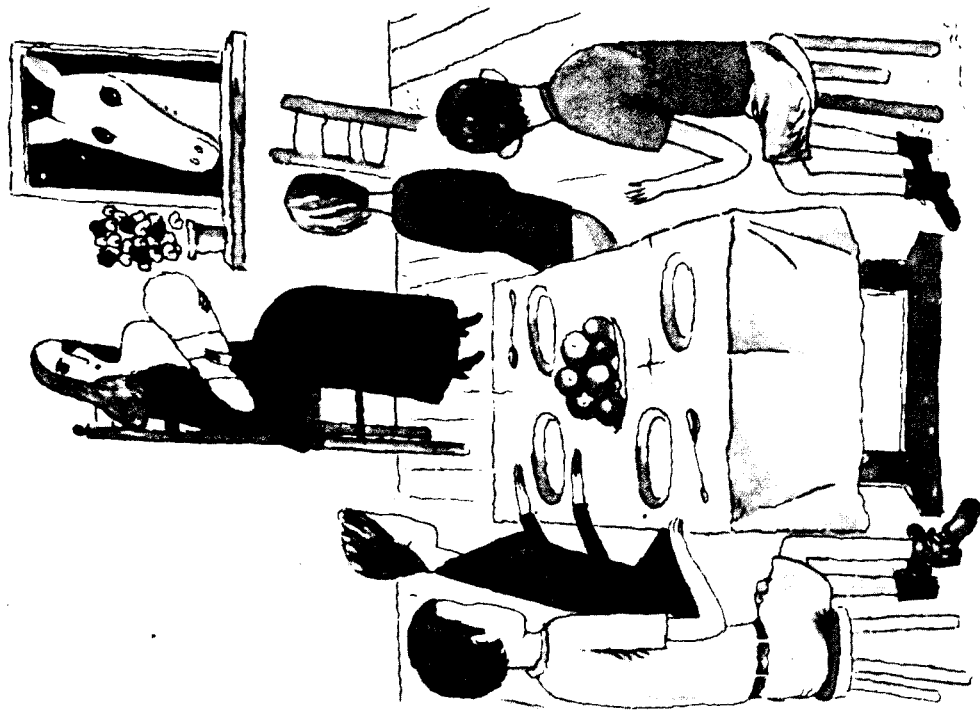
В пыльном облаке, тронутом медью раннего солнца, бык ломает агавы на пути к колодцу. Наскоро пьет и, раскошный, огромней, чем само поле, поднимается, воитель, в обрывах виноградной лозы на рогах, к нагорному лесу, скрываясь, наконец, от жадного взгляда в ослепительной, уже сплошь золотой заре.

## ИСПУГ

Дети ужинали. На снежной скатерти дремал теплый розовый свет, а расписные яблоки и красная герань расцвечивали грубой здоровой радостью этот бесхитростный уют. Девочки держались как подобает женщинам; ребята по-мужски толковали между собой. В глупине, кормя грудью малыша, молодая мать, русая и красивая, смотрела на них с улыбкой. За окном в саду дрожала звездами светлая ночь, холодная и нелюдимая.

Вдруг Бланка хрупкой молнией метнулась к матери. Внезапная тишина — и в грохоте опрокинутых стульев за ней суматошно кинулись остальные, с ужасом оглядываясь.

Глупый Платеро! Прижав к оконному стеклу белую голову, вдвойне огромную от темноты и страха, он неподвижно и грустно смóтрел в уютно освещенный дом.

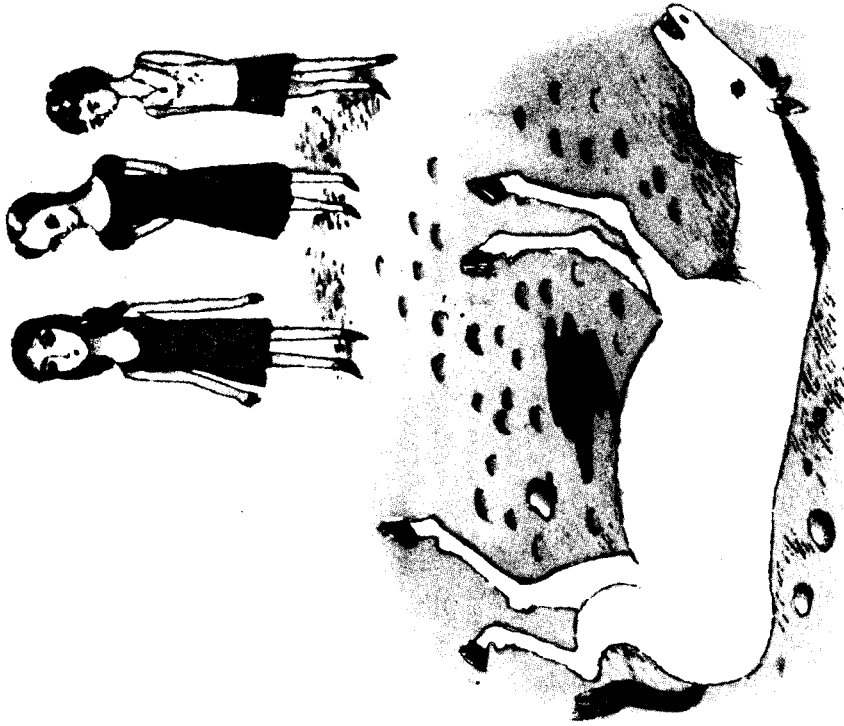


## БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Мне грустно, Платеро... Сегодня на улице Цветов, у самой арки, как раз на том месте, где молнией убило близнецов, я увидел на земле белую кобылу Глухого. Крохотные, полуголые девочки смотрели на нее молча.

Пурита, швея, проходя мимо, рассказала, что Глухой, которому стало уже невозможно кормить клячу, утром отвел ее на пустырь. Ты же знаешь, она была такая старая, совсем как дон Хулиан, и такая никудышная. Уже не видела и не слышала и едва могла двигаться... Но могла и поэтому в полдень снова стояла у двери хозяина. Он, расвирепев, выдернул подпорку и замахнулся. Она не ухотила. Тогда Глухой ткнул ее серпом. Сбежались люди, и под ругань и смех лошадь заковыляла вверх по улице, слотыкаясь, заваливаясь. Девтора провозжала ее криками и камнями... Наконец она свалилась на землю, и там ее добили. Все же мелькнула над ней тень сострадания: «Дайте ей умереть спокойной!» — словно мы с тобой оказались рядом, но было это, как бабочка в урагане.

Камни так и остались лежать рядом с лошадью, к моему приходу уже холодной, как они. Один ее глаз был широко раскрыт и, слепой при жизни, теперь, казалось, смотрел. Ее белизна хранила последний свет на померкшей улице, где вечернее небо, высокое от холода, заплывало тонкой розовой рябью.

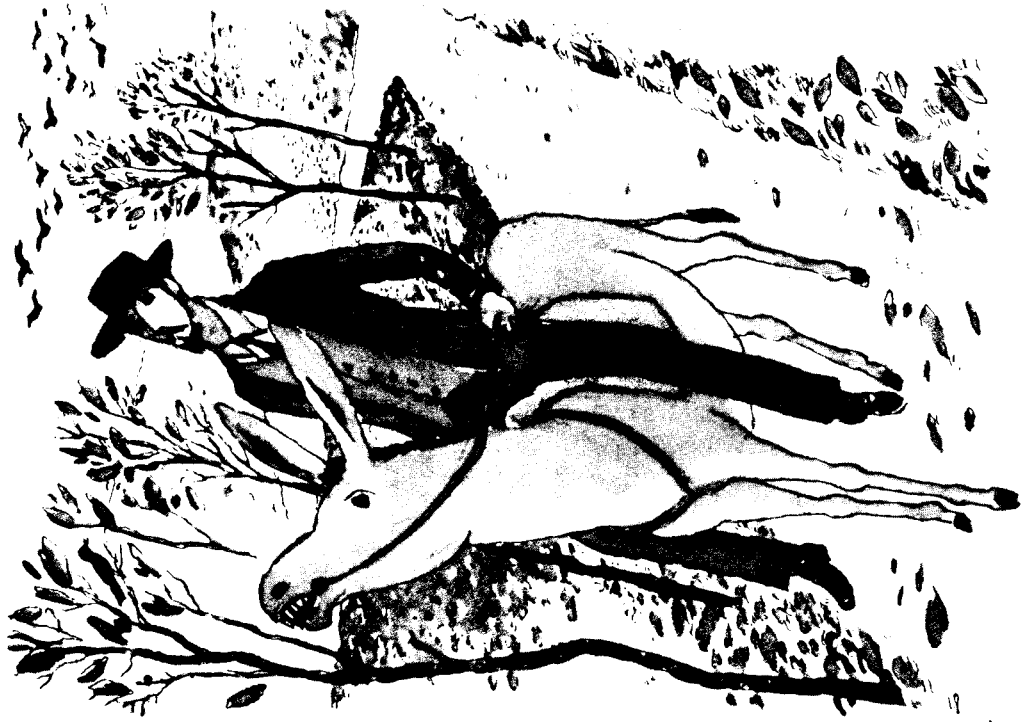


## ДОРОГА

Как облетели за ночь деревья, Платеро! Кажется, что они опрокинулись и, расстелив ветви, корнями врастают в небо. Посмотри на тополь — он похож на Лусию, акробатку из цирка, когда, расплескав по ковру огненные волосы, она поднимает сведенные вместе стройные ноги в сером кружеве, от которого они еще стройнее.

Теперь, Платеро, с голых ветвей птицы видят нас в золотой листве, как мы их видели в зеленой. Свежий голос высокой листвы, сухим нищенским вздохом обернулся он внизу!

Взгляни, Платеро, — все усыпано листьями. Когда мы вернемся в то воскресенье, ты не увидишь ни единого. Не знаю, куда они уходят. Наверно, влюбленные весенние птицы открыли им секрет этой прекрасной и тайной смерти, которой не будет ни у тебя, ни у меня, Платеро...



...И, вконец уже измучен,  
умирал он с каждым шагом...

«Серый конь алькальда Велеса»  
(*Романсеро*)

Я не могу, Платеро, не могу уйти. Кто бросил его здесь, одного, беспомощного?

Он, наверно, выбрался со свалки. И наверно, не видит и не слышит нас. На том же бугре высеченное солнцем, возникло нынче утром, под белыми облаками, это горькое, иссохшее убожество в живых островках мух, чужое сказочному зимнему дню. Он долго и трудно поворачивался, хромая на все четыре ноги, словно искал восток, и, завершив оборот, застывал. Все, что он смог, — это повернуться. Утром он смотрел на восток, теперь — на закат.

Годы, Платеро, надежные пути. Вот он, бедный твой брат, — он свободен и, даже приди сейчас весна, не сдвинется. Не стоит ли он уже мертвый? Ребенок мог бы нарисовать этот оконечный силуэт на сумеречном небе.

Ты же видишь. Я пытался сдвинуть его, и он не шелохнулся. Не почувствовал окрика... Агония словно вросла его в землю...

Платеро, он умрет ночью от холода на этом высоком

## НОВАЯ ИДИЛЛИЯ

Возвращаясь к ночи с мягким грузом сосновых веток для очага, Платеро в сумерках почти исчезает под раскидистой поникшей зеленью. Он идет мелкими, тесными шажками, как циркачка по проволоке, — изящно, точно балуясь... Кажется, вообще не идет. Только торчат уши, словно улитка выставила рожки из своего домика.

Зеленые ветви, те самые ветви, у которых там, вверху, было солнце, были клесты, ветер, луна, вороны — ужасно, Платеро, и вороны тоже! — теперь, бедные, мутят белую пыль сухих вечерних дорог.

Холодная сиреневая нежность над полумизмными полями. И кроткая убожность ослика с его ношей начинается, как и в прошлом году, казаться нездешней...



## РОЖДЕСТВО

бугре, продутом северными ветрами... Я не могу уйти,  
я ничего не могу Плагеро...

Костер на пустоши!.. Предвечерье сочельника,  
и слабое дымное солнце едва проступает на невзрачном  
небе, чистом, но сплошь сером, с невнятной желтизной  
на закатном горизонте... Нежданно взлетает в воздух  
колючий треск опаленной хвой, потом тугой дым, белый,  
как горностаи, и, наконец, его проясняет огонь, ожи-  
вая светлыми мимолетными языками, которые лижут  
воздух.

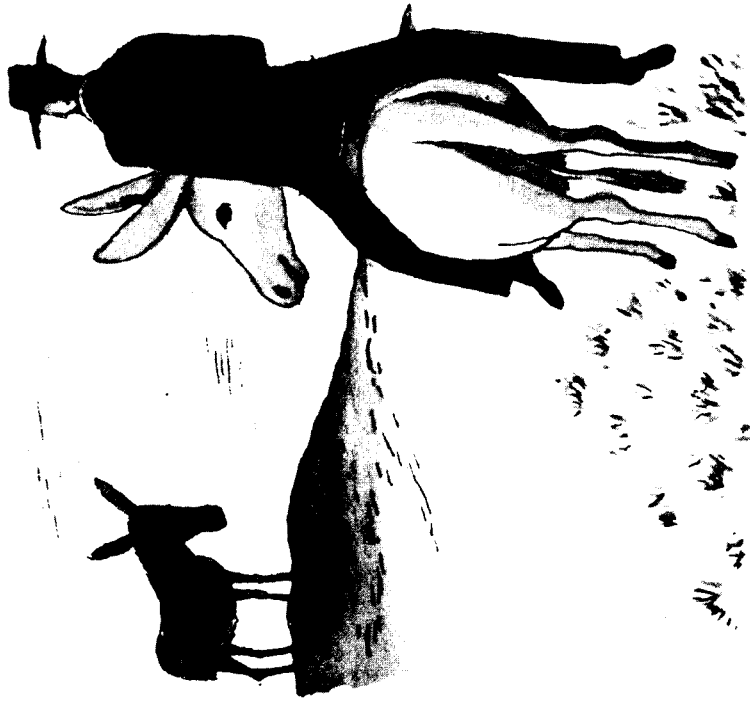
Пламя на ветру! Рой желтых, розовых, сиреневых  
и синих призраков пронизывает на лету незримый низ-  
кий потолок и где-то исчезает, отдавая стужу запахом  
жара.

Декабрьская, вдруг потеплевшая даль! Улыбка зимы!  
Сочельник счастливых...

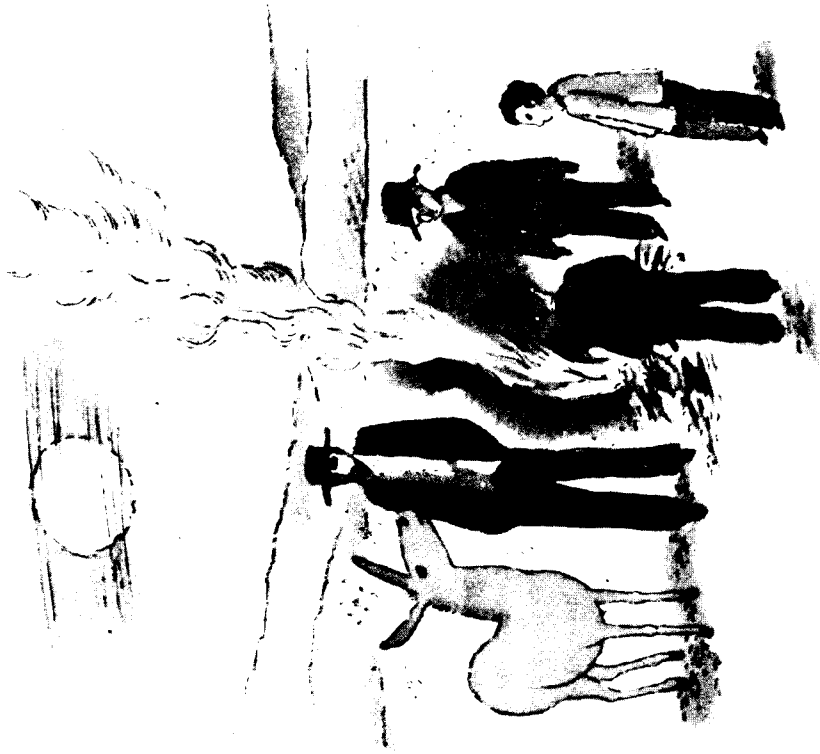
Плавятся соседние кусты. В струях жаркого воздуха  
дрожиг и яснеет окрестность, переливаясь текучим  
стеклом. И дети арендатора, у которых не бывает рож-  
дства, грея озябшие руки, жалко и грустно толчут-  
ся у костра, где стреляют, лопаюсь, желуды и каш-  
таны.

И в конце концов развеселившись, они прыгают  
через огонь, уже по-ночному багровый, и поют:

...В дорогу, Иосиф,  
в дорогу, Мария...



Я подвожу Платеро, чтобы он поиграл с ними.



## ТРИ КОРОЛЯ

Фантастична для детей эта ночь, Платеро! Уложить их было немисливо. Наконец сон одолел — кого на стуле, кого на полу, спиной к камину, Бланку на креслице. Пеле на скамье, щекой к дверному косяку, чтоб не прозвать Трех Королей... И теперь, в этой надмирной глупине, где потонула жизнь, вибрирует, как огромное сердце, переполненное и сильное, их единый, живой и сказочный сон.

Перед ужином я всех повел наверх. Сколько шума было на лестнице, обычно такой жуткой для них вечерами! «Ну нискобочки не страшно! А тебе, Пеле?» — повторяла Бланка, крепко стиснув мою руку. И каждый поставил на балкон, между цитронами, свой башмачок.

Сейчас, Платеро, тетушка, Мария Тереза, Лолилья, Перико, ты и я обрядимся в одеяла, простыни, старинные шляпы. И в полночь перед окнами детей пройдем вереницей огней и масок, под звуки труб, кастрюль и морской раковины из угловой комнаты. Мы с тобой впереди — я подвяжу себе ватную бороду, а тебе, как передник, колумбийский флаг из дома моего дяди, консула... Дети, разом разбуженные, с повисшими еще паутинками сна в изумленных глазах, прижмутся к стеклам в одних рубашках, дрожащие, околованные. Мы будем сниться им до утра и все утро, а когда заголубеет, уже довольно поздно, в оконной створке небо,



они ринутся, полуодетые, на балкон и станут обладателями сокровищ.

В прошлом году было много радости. Повеселимся же этой ночью, Платеро, мой верблюжонок!

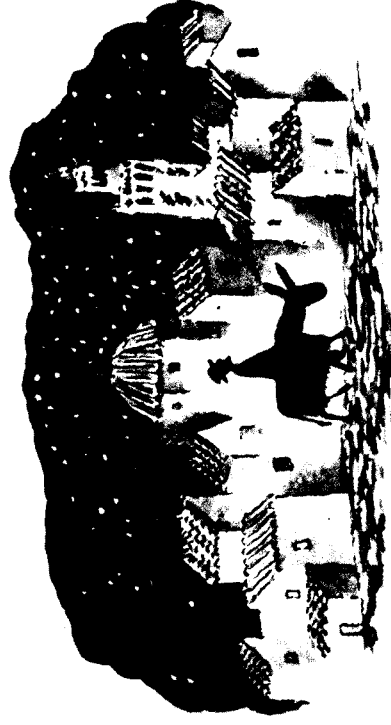
## ВЫСОКАЯ НОЧЬ

Зубчатые светлые крыши обрезают веселым синим небом, ледяным и звездным. Крепкий северный ветер бесшумно обнимает своей пронзительной чистотой.

Все думают, что мерзнут, и запираются по домам. С тобой, Платеро, твоя шерсть и моя накидка, со мной — моя душа, и мы, не торопясь, пойдем по метеным, вымершим улицам.

Что-то сильное поднимает меня, и я — как башня из дикого камня, вольно отделанная серебром. Смотрю, сколько звезд! И все они плывут. Небо кажется детской страной, где с нездешней любовью молятся о земле.

Платеро, Платеро! Я все бы в жизни отдал, надеясь, что и ты отдал бы все, за чистоту этой высокой январской ночи, одинокой, ясной и строгой!



## КАРНАВАЛ

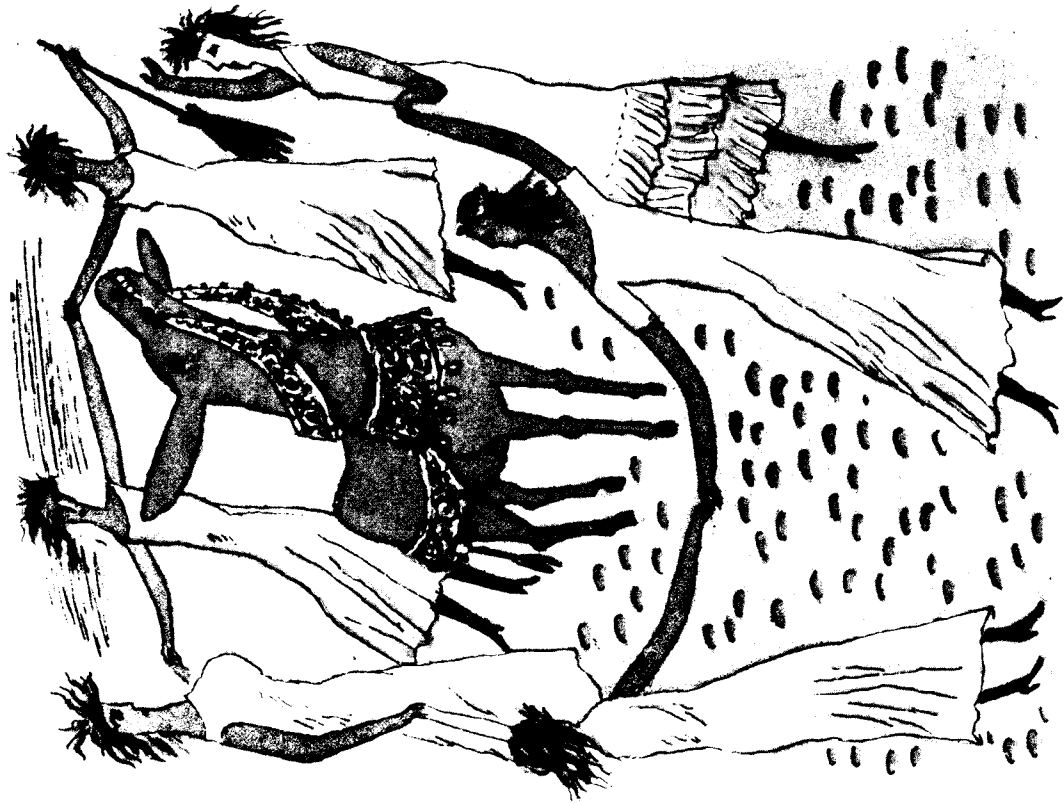
Как хорош сегодня Платеро! Понедельник карнавала, и дети, разряженные цыганами, тореро, циркачами, надели на него мавританскую сбрую, всю в арабесках алого, белого, зеленого и желтого шитья.

Солнце, вода и холод. Резкий вечерний ветер метет по мостовой цветные конфетти, и продрогшие маски чем попало кутают синие руки.

Едва мы вышли на площадь, ряженные колдуньями женщины в длинных белых рубахах и зеленых венках на черных разметанных волосах замкнули Платеро в свой одичалый хоровод и, держась за руки, весело закружились.

Платеро в замешательстве, он топорщит уши, задирает голову и, словно скорпион в огненном кольце, панически силится выскользнуть. Но он такой маленький, что ведьмы его не боятся и все кружатся с пеньем и хохотом. Девтора, чтобы пленник заревел, кричит по-ослиному. Вся площадь уже исступленный оркестр меди, смеха, ослиного рева, пенья, бубнов и жестянок...

Наконец Платеро с мужской решимостью прорывает круг и трусит ко мне, жалуясь, путаясь в пышной сбруе. Он не для карнавалов... Для них мы не годимся...



Мы тихо бредем — я по одну, Платеро по другую сторону скамеек — Монастырской площадью, заброшенной и милой в этот теплый февральский вечер на раннем закате — сиренево переходящем в золото над богадельней, и вдруг я чувствую, что с нами кто-то третий.

Я оборачиваюсь навстречу словам:

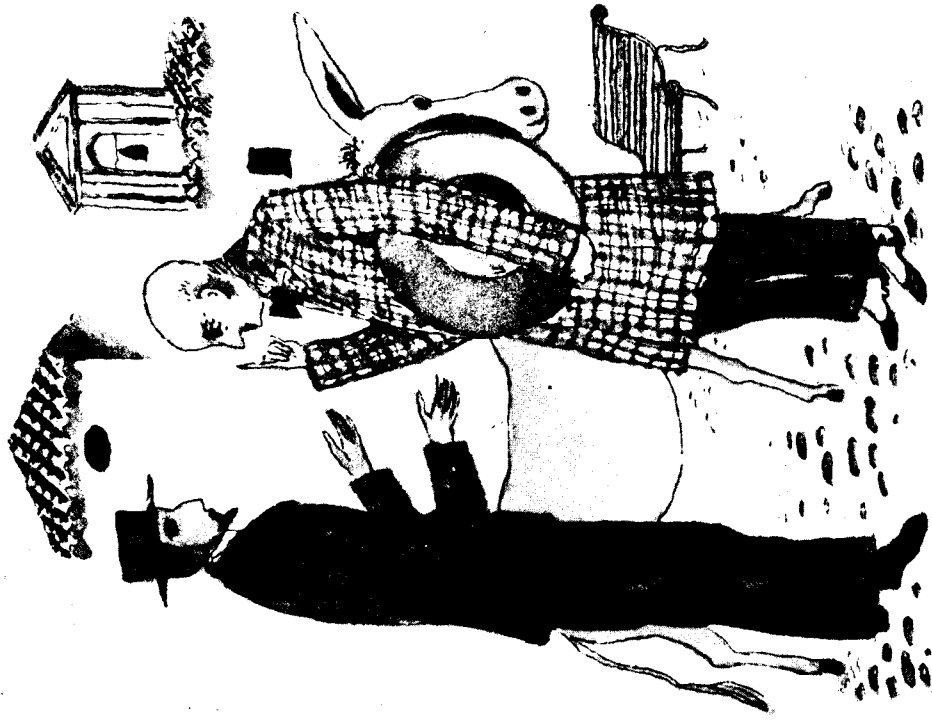
— Дон Хуан...

И Леон легонько хлопает меня по плечу.

Да, это Леон, надушенный и приодетый для игры в оркестре, — клетчатый сюржучок, черный лак богинок с белым верхом, небрежный платок зеленого шелка и под мышкой блистающая медь тарелок. Он хлопает меня по плечу и говорит, что каждому свое, бог никого не обделил... Что если я, к примеру, пишу в газетах, он, с его-то слухом...

— Как видите, дон Хуан, тарелки... Трудноватенький инструмент... Такой, что по бумажке не сыграешь... Захоти он досадить Модесто, так он, с его слухом, мог бы любую вещь насвистеть, пока там разбирают ноты. Так-то... Каждому свое... У вас газеты. У меня силы побольше, чем у Платеро... Потрогайте-ка тут...

И он наклоняет ко мне свою старую и голую, как кастильская степь, голову, где на темени затвердела сухой тыквой огромная мозоль — четкое клеймо его



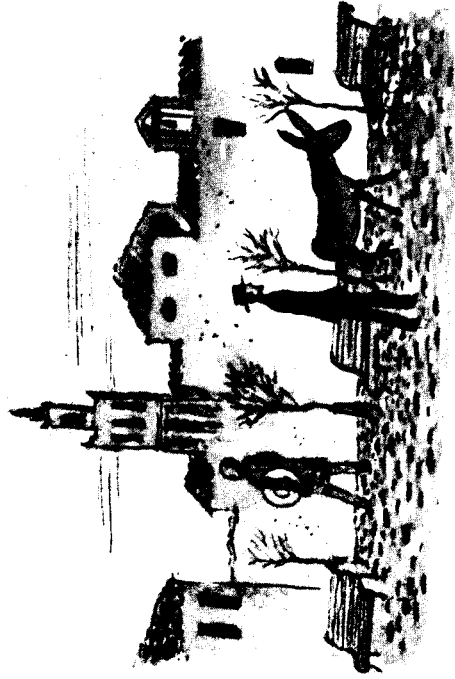
настоящей, нелегкой профессии, ибо тарелки — это чистое искусство, его страсть.

Он хлопает по плечу и, подмигнув из россыпи оспинок, удаляется, припльсывая, на ходу насвистывая какой-то пасодобль, верно новинку сегодняшнего вечера. Но вдруг возвращается и протягивает мне карточку:

ЛЕОН

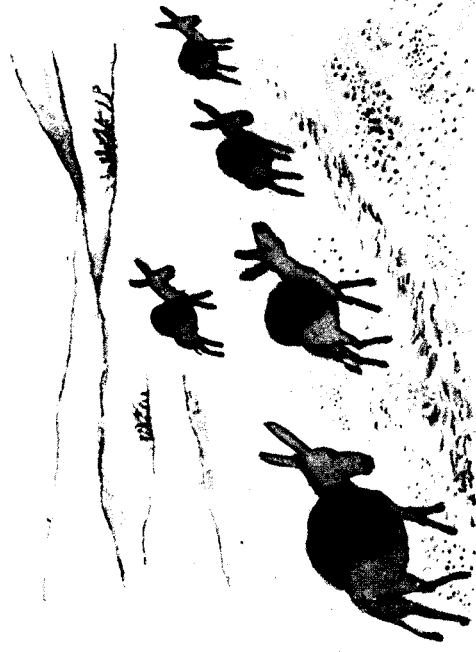
СТАРШИНА НОСИЛЬЩИКОВ МОГЕРА

Леон, Платеро, бедный Леон, который днем таскает на голове баулы, а вечером берется за тарелки.



## ОСЛИКИ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ

Вот они, Платеро, каторжане карьера Кемадо, понурые, полуживые под колким красным грузом сырого песка с вонзенным, как в сердце, зеленым прутом оливы, которым их бьют...

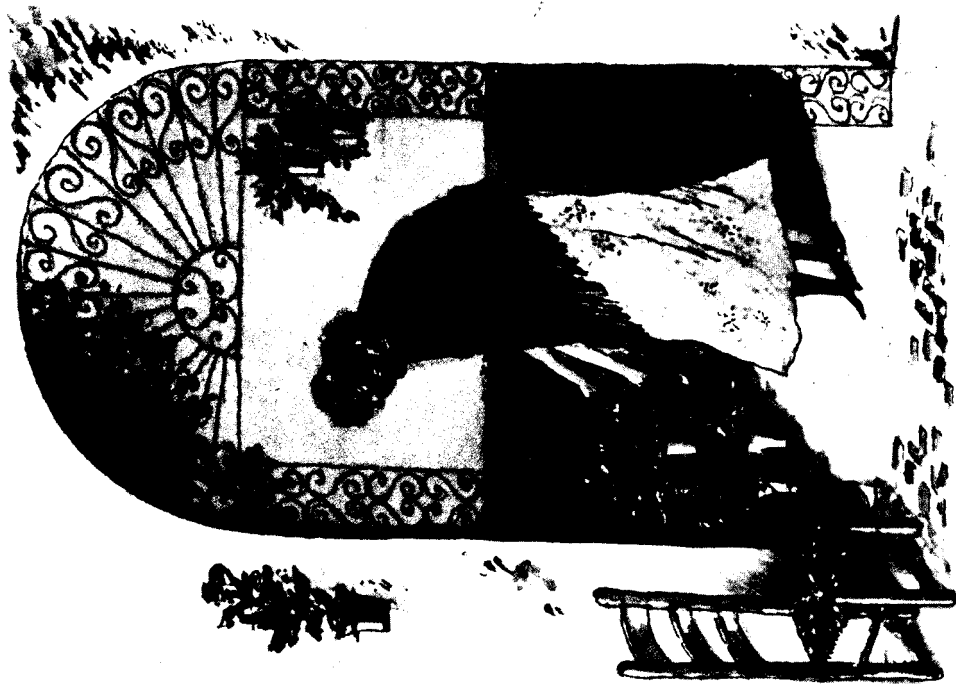


## ЦВЕТЫ

Мама Тереза — вспоминает моя мать — перед смертью бредила цветами. По странной связи с различными звездами тогдашних моих младенческих снов мне всегда кажется, Платеро, что цветы ее бреда были розовыми, синими и лиловыми цветами вербены.

Маму Терезу я вижу неизменно сквозь разноцветные стекла решетчатой двери, за которой луна становилась алой, а солнце синим, и всегда терпеливо склоненной над голубыми цветочными горшками или белой куртиной. И призрак, не меняясь ни в солнце августа, ни под сентябрьским ливнем, никогда не поднимает лица, потому что я не помню, каким оно было.

В бреду, вспоминает мать, она звала какого-то незримого садовника. Кого-то, кто ласково повел бы ее по тропинке к зацветшей вербене. Этой дорогой и возвращается она ко мне, сберегшему ее, как ей хотелось, если не в сердце, то в теплой памяти, словно в том шелке, что она любила, тонком шелке с мелкими цветами, братьями никлых гелиотропов и ночных светлячков моего детства.



## СМЕРТЬ

На соломенной подстилке меня встретили влажные и жалкие глаза Платеро. Я подошел, стал его гладить, уговаривая, и хотел заставить подняться...

Бедный весь резко дернулся и подогнул ногу... Не смог... Тогда я расправил ему ногу, подложив соломы, снова нежно погладил и послал за лекарем.

Огромный беззубый рот у старого Дарбона западал до ушей, а голова с набрякшими венами поникла и качалась, как маятник.

— Неважно, да?

Я не понимал, что он говорит... Что бедняга отходит... Что-то ядовитое... Боли... Поздно...

В полдень Платеро умер. Его ватное брюшко вздулось, как глобус, и ноги, оконечные и выцветшие, поднялись к небу. Кудрявая шерсть его стала как побитые моллю колтуны старых кукол, опадающие под ладонью пыльно и плакуче...

По затихшей конюшне, раз за разом загораясь в оконном луче, кружилась чудесная трехцветная бабочка...



## РАЗЛУКА

Платеро, ты видишь нас, правда?

Правда, ты видишь, как светло смеется по садам вода полива и хлопочут на закате пчелы над зеленым розарином, золотым и розовым в последних лучах, не погасших на холме?

Платеро, ты видишь нас, правда?

Правда, ты видишь, как идут по красному откосу Старого ключа ослики прачек, усталые, хромые и грустные в бездонной ясности, где небо и земля слились в единый ослепительный кристалл?

Платеро, ты видишь нас, правда?

Правда, ты видишь, как бегут заворуженно дети сквозь кустарник, заметенный цветами, воздушная стая белых бабочек в алых крапинках?

Платеро, ты видишь нас, правда?

Платеро, правда, ты видишь нас? Да, ты видишь меня. И я, чудится, слышу, да, я слышу, на погожей вечерней заре, как окликает виноградную долину твой теплый заплаканный голос.



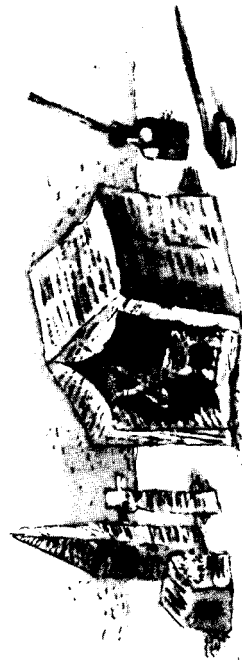
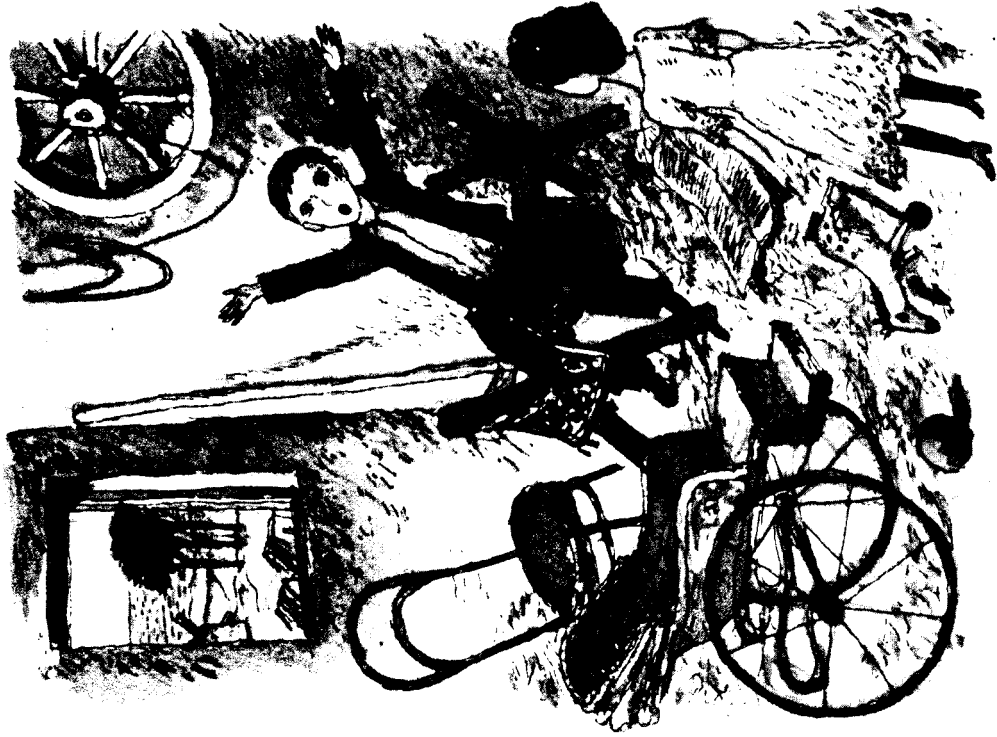
## ПАМЯТНИК

Я надел на деревянные козлы седло бедного Платеро, его уздечку с удилами и понес это все в большой амбар, туда, где в углу забыто пылились детские колыбели. Внутри просторно, тихо и солнечно. Отсюда видна вся долина Могера: налево — бурый Ветряк, направо — белый скит на Большой горе, закутанной в сосны, за церковью — укромный Ореховый сад и высоко, на закат, — неспокойное летнее море в искристой чешуе прилива.

Каникулы, и сюда сбегаются дети. Сооружают кареты под вечный грохот падающих стульев, театры с занавесом из газет, раскрашенных суриком, церкви, школы...

Иногда садятся в седло, на деревянный бездушный круп, и в неистовом мельтешении рук и ног скачут по лугам своей мечты:

— Быстрей! Быстрей, Платеро!





Под вечер я пошел с детьми навесить могилу Платеро, в саду, под материнским крылом широкой сосны. Вокруг нее апрель приукрасил сырую землю высокими желтыми ирисами.

Зеленые птицы пели на упругой вершине в голубых отцветах зенита, и дробные трели, расцветая и смеясь, ухлывали в золотой воздух теплого предвечерья, как надежды молодой любви.

Дети сразу стихли. Спокойные и серьезные, глаза их блестели навстречу моим, переполняя безответной тоской.

— Родной мой Платеро, — сказал я земле, — теперь ты, думаю, на небесном лугу и возишь на своей мохнатой спине юных ангелов, а меня, наверно, позабыл. Платеро, скажи, ты еще помнишь меня?

И, словно в ответ, легкая светлая бабочка, прежде неприметная, неутолимо, как душа, полетела от ириса к ирису...





### РАССКАЗЫ О ТОМ, ЧТО УВИДЕЛИ ХОЗЯИН И ЕГО ОСЛИК ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛОК

В одном очень известном испанском словаре-справочнике, где приводятся основные сведения о писателях, художниках, мореплавателях, политических деятелях, изобретателях, ученых и других знаменитых людях всех времен и народов, о Хуане Рамоне Хименесе сказано очень кратко: «Испанский поэт (1881—1958), автор «Платеро и я». Лауреат Нобелевской премии (1956)». Обратим внимание на то, что из всех многочисленных сочинений испанского поэта, главным образом стихотворных, названы не знаменитые сборники стихов, принесшие ему мировую славу, а маленькая книжечка, написанная в прозе, появившаяся в 1914 году. Почему составители словаря выбрали книжечку об ослике, а не что-нибудь другое? Не ошиблись ли они?

Нет, авторы не ошиблись. Его стихи написаны для взрослых, и читают их только взрослые, а книжку, о которой идет речь, читают и знают все испанцы от мала до велика, причем она известна не только в Испании, но и во всех странах испанского языка, число которых достигает двадцати. В переводах с ней знакомы читатели и других народов.

Писатель не создавал ее специально для детей, но получилось так, что молодые испанцы сразу приняли ее как свою, а становясь взрослыми, не переставали ее читать и перечитывать. У книг, как и у людей, своя судьба. Уже не раз бывало так, что книги, задуманные для детей, со временем становились любимым чтением взрослых. Вспомните «Алису в Стране Чудес» или детские стихи Владимира Маяковского. Напротив, большинство сказок разных народов рождалось для взрослого слушателя, а затем привлекали внимание огромной детской аудитории во всем мире.

Почему взрослые охотно читают детскую литературу? На этот вопрос можно, по-моему, ответить так. Каждый взрослый был когда-то ребенком и по-своему воспринимал не только все, что его окружало, но и все то, о чем рассказывалось устно или в книжках. Не обладая опытом старших, ребенок проявлял много любопытства, задавал родителям и знакомым много вопросов «почему?», самостоятельно делал повседневные маленькие открытия, многое хотел узнать, по-своему выражал отношение к людям, к животным, к природе и умел многому радоваться. Мне кажется, что взрослые, читая детские книжки, как бы возвращаются к поре своего детства, хотя прекрасно понимают, что прошлого не вернешь. Но ведь мечтать можно не только о будущем, но и о том, что было.

Теперь уместно задать и другой вопрос, более трудный: почему некоторые произведения взрослой литературы присваиваются, если можно так сказать, детьми? У каждого юного читателя есть достаточно большой запас знаний, умений, навыков, счастливых или огорчительных переживаний, он сам уже может отличить благородный, героический поступок от дурного и низкого, у него непременно есть любимые герои в жизни и в книгах, в кино, в театре, есть свои представления о красивом и безобразном. Готовясь стать взрослым, юный читатель имеет счастливую возможность благодаря литературе обогатить свою память, опыт и чувства знанием тех богатств, которые накоплены в мире взрослых, в который он непременно должен вступить. Героика труда, военные тяготы и победы, красота и польза природы, понятие о чести и благородстве, о человеческом достоин-

стве и порядочности, законы дружбы и товарищества, умение делать добрые дела и бороться со злом — все это одинаково важно и интересно как для взрослых, так и для детей.

Чтение художественной литературы — дело не простое и только на первый взгляд кажется легким. Прочесте стихотворение, расскажи или роман и понять их смысл — далеко не одно и то же. Этому нужно учиться, как учатся слушать музыку или смотреть картину. Писатель — это прежде всего художник. Поэтому, читая повесть, стихотворение или рассказ, необходимо понять не только то, о чем в них говорится, но и то, как об этом сказано, какими словами, как автор описывает людей, события, природу, кому он симпатизирует, кого любит, осуждает или даже ненавидит.

Начнем с заглавия и с подзаголовка. Слово «Платеро» по-испански буквально значит «серебристый». Это имя дано ослику, которого в Испании называют также «серым» или «серебристо-серым». Обратите внимание, что первым в заглавии поставлено имя ослика «Платеро и я», а не наоборот — «Я и Платеро». Это значит, что ослику отводится в рассказе важная роль: он такое же действующее лицо, как и сам автор. Поэтому мы не должны удивляться, что автор говорит о себе и об ослике «мы» («Мы вдвоем возвращались с гор»), что он обращается к нему, как к младшему другу («Ну пойми, тебе с нами нельзя, ведь ты маленький»), что по-братски делится с ним арбузом, позволяет входить в свою комнату, хочет, чтобы ослик повидал большой город Уэльву, и сам отказывается от посещения Летнего сада только потому, что сторож не пускает туда Платеро.

Нужно сказать, что для испанцев, как и для других южных народов Европы и Азии, осел очень нужное животное. Без него трудно, а иногда просто невозможно обойтись в повседневной жизни, в хозяйстве. Люди очень ценят его трудолюбие, выносливость, неприхотливость в еде, надежность в работе. Прожив какое-то время в семье, он становится как бы ее членом и вместе со всеми делит труд, жару, холод, а часто и голод и при этом никогда не жалуется, отличается мирным, ровным характером и на дружбу отвечает

дружбой. Теперь понятно, почему писатель выбрал ослика товарищем в своих недавних прогулках. С таким надежным другом он совсем не чувствует себя одиноким, и вместе с тем ослик не мешает автору думать о своем, переживать то, что он видит, слышит и чувствует. Конечно, хозяин и его ослик по-разному видят мир, каждый воспринимает его по-своему и по-своему отзывается на увиденное. Любуясь луной, хозяин напоминает несколько стихотворных строчек, Платеро, взглянув с любопытством на ночное светило, только встряхнул ухо, а посмотрев удивленно на хозяина, встряхнул другое. Это различие не мешает им дружить и особым образом понимать друг друга.

Книжка написана, как я уже говорил, не стихами, а прозой, но в подзаголовке стоит слово «элегия», которым обычно называют стихи, передающие грустное, печальное настроение, отражающие ощущения тоски, одиночества, грусти. При чтении книжки вы почувствуете это, но обратите внимание и на то, что во всех этих настроениях нет ничего безысходно-тяжелого, угнетающе-мрачного. Конечно, на людях, в кругу друзей быть хорошо, но побить одному тоже важно. Неприятности, непоседливость, суеверность иногда очень мешают нам сосредоточиться на собственных мыслях и чувствах. Хуан Рамон Хименес любит уединение не потому, что ему никто не нужен, но как раз для того, чтобы передать всем людям впечатление о природе и о них самих, о том, что грустный зимний пейзаж обязательно сменяется весенним пробуждением новой жизни, о том, как печаль непременно тает при виде земли, торжественно спокойного моря и бездонного голубого неба. Такое одиночество не страшно, но привлекательно, и его можно даже любить. Об этом писателе так и говорили: «Одиночество не пугает его, потому что всегда было его верным другом, а в тишину он был просто влюблен, потому что она давала ему возможность увидеть красоту жизни».

В маленьких рассказах, из которых состоит книга, большое место занимает описание природы. Чтобы полюбить природу, надо ее знать, почувствовать ее живое движение, уметь именовать

предметы и явления, увидеть в них нечто важное, интересное, заметить необычное в обыкновенном, удивительное в привычном. Хуан Рамон Хименес любит природу, понимает ее и умеет рассказывать о ней. Обратите внимание, как он точно, немногословно живописует времена года. Голубое небо, пение птиц, цветение молодой жизни, радужные ливни — это весна, желтая пшеница, алые маки, уже увенчанные пепельными коронами, — лето. Приметы осени — любимого автором времени года — описаны более подробно: синева неба становится гуще, появились лютые грозды муската, в полях заметна усталость (сентябрь); день вытягивается медленно и долго, солнце становится ленивым, загораются прощальные солнечные золотые костры (октябрь); холодная сиреневая нежность над полями, сухие вечерние дороги (ноябрь). Завершает годичный цикл зима: и уже днем «слабое дымное солнце едва проступает на невзрачном сером небе», а по ночам оно становится «темно-синим, ледяным и звездным».

Описывая пейзаж — поля, дуга, апельсиновые и миндальные рощи, гранатовые деревья, прибрежный песок, море и небо, — Хуан Рамон Хименес ничего не придумывает: это его родная природа, окрестности маленького городка Могер на юге Андалузии, близ города Уэльвы, центра провинции того же названия. Могер — родина поэта, и все здесь — и в самом городке, и в его окрестностях — хорошо ему знакомо. В картинах природы отражены и впечатления дальнего детства, и мысли взрослого человека, большого художника, выдающегося мастера слова, тонкого ценителя красоты, размышляющего о жизни в самых разных ее формах и проявлениях. Вот автор увидел цветок при дороге, выделил его из множества других, сделал его как бы своим. Ведь так бывает в детстве: у каждого из нас есть или было любимое дерево, любимая роща, куст или даже цветок. Эта особая привязанность к одному и единственному предмету дает нам возможность увидеть это дерево, куст или цветок с близкого расстояния, заметить, как они удивительно устроены, узнать и запомнить их имя. Сосредоточив внимание на одном цветке, автор повествует и о простых событиях его цветочной жизни:

какая-то птичка ненадолго присела на него, покачалась и улетела, подлетела пчела за медовым вянком, прошел дождь, и в венчике задержалась прозрачная влага, — да мало ли что можно рассказать о цветке, если мы наблюдательны и если судьба его нам не безразлична. Поэт подумал и о том, что у этого цветка, как и у всех других, своя неповторимая жизнь, которая непременно должна оборваться, но на смену ему вырастут новые цветы, и какой-нибудь из них будет удивительно похож на тот единственный. И разве этот нескончаемый круговорот в природе не похож на движение человеческой жизни, в котором память поколений не дает бесследно исчезнуть ни одному из нас, живущих на земле.

Пейзаж — сельский и городской — густо населен: дети, старики, цыгане, рыбаки, крестьяне, ослики, кони, собаки, птицы, бабочки. Особенно много внимания уделено детям: их играм, радостям, страхам, огорчениям, стычкам, примирениям. Чувство шепчущей жалости, вызывают большие дети, немощные старики, постаревшие лошади, бездомные собаки, страдающие от непомерного труда серые собраты Платеро — ослики с песчаных карьеров, птицы в неволе. В книге рассказано много маленьких историй, случаев из жизни людей и животных: о том, как доктор приходит на помощь раненому охотнику, о фокстерьере Лорде и его печальной судьбе, о том, как Платеро и его хозяин спасают птиц от сылков, о петушиных боях, о судьбе кенара, о мальчике — продавце абрикосов, о нищих людях и нищих собаках и о многом другом. Природа не остается равнодушной к тому, что происходит в мире людей и животных: впечатление от забавных детских игр усиливается веселыми красками земли и неба, яркими лучами солнца, задорным ветром, напоенным запахами моря, цветущего миндаля и апельсиновых садов. Но вот убивают бездомного пса, и тогда само солнце кажется грустным, а деревья начинают стонать и плакать под разбушевавшимся и гневно протестующим ветром.

Описывая природу, людей и животных, автор не стремится дать полную и подробную картину того, что он видел и хорошо знает. Чтобы подробно рассказать даже об отдельном дереве, по-

требовалась бы целая книга. Не говоря уже о человеке. Лев Николаевич Толстой сказал однажды: «Мне кажется, что человека описать собственно нельзя, но можно описать, как он на меня подействовал». То же самое можно сказать и о природе. Хуан Рамон Хименес, также как и все художники, запечатлевает только то, что тронуло его чувства, родило какую-то мысль, создало определенное настроение. При этом он хочет, чтобы все эти чувства, мысли и настроения — такие же или похожие — возникали у нас. Мы, читатели, — не в обиду будет сказано — многого не замечаем, а если и замечаем, то не умеем рассказать о виденном точными и нужными словами. Ну что, например, мы можем сказать о колодеце? Колодец и колодец. Из него берут воду. Хуан Рамон Хименес увидел здесь многое: на одной его стенке пышно расцвел синий цветок — благо вода рядом; чуть пониже свила гнездо ласточка — трудно найти более укромное и безопасное место для себя и своей семьи; дальше — вода, а в воде — небо, усеянное звездами. И в вышине — звезды, и в глубине колодца — звезды, здесь ночь — и там ночь. Колодец узкий, а мир раздвинулся, расширился, стал необъятным, каков он и есть на самом деле.

В одном рассказе («Озноб») есть фраза о том, что Платеро, подступенный страхом, с разбега входит в ручей и раскалывает луну, брызгая светлыми осколками. Иной читатель, плохо понимающий, что такое словесный образ, может сказать примерно так: «Где это видано, чтобы осел расколол луну, а вода брызгала не брызгами, а какими-то осколками? Разве может быть такое на самом деле?» Может. Автор удивительно точно описал то, что было. Была ночь, и была луна, но Платеро увидел ее не в небе, а в отражении, в ручье. Сильно испугавшись чего-то, он бросился в воду, наступил с размаху на луну, отраженную в воде, разрушил ее очертания, от расколотой луны полетели во все стороны светлые брызги-осколки (ведь он же расколол луну). Если ночь звездная, то далекие звезды отражаются и в ведре с водой. Это так близко, что кажется, их можно достать рукой. Поэтому понятно, почему автор мог написать: «Платеро осушил ведро с водой и звездами». Назвав ночь

фиалковой, он в одном слове обозначил не только ее фиолетовый свет, но и запах фиалок, который особенно сильно ощущается в остывающем после дневного жара ночном воздухе. Искусство художника слова как раз в том и состоит, чтобы хорошо выбранное слово вызывало у нас как можно больше ассоциаций, ярких картин и даже целых событий. Если автор пишет, что «со стороны Уэльвы пахло морем, смолой и рыбой», то мы представляем себе и морской берег, песчаный или каменистый, и смоленные рыбацкие лодки с мачтами, и рыбаков, выбирающих или забрасывающих сети, стоящих или убирающих паруса, и рыбу, бьющуюся на дне лодок.

Научившись внимательно читать и понимать автора, читатель не удивится выражению «песнь пробует тон». Ведь нам уже знакомы такие метафоры: песня рождается, льется, замирает, ее подхватывают, она украшает жизнь. Но, наверное, никто до Хуана Рамона Хименеса не сказал о том, что песня сама может настраиваться на определенный тон. Сила поэта, писателя, его значение и величие состоит не только в том, что он повествует о насущно важных для человека вещах, но и в том, что он рассказывает обо всем этом по-своему, своими словами, найденными в сокровищнице родной речи.

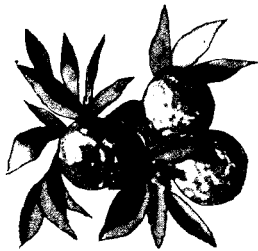
О Хуане Рамоне Хименесе написано много книг и статей. Их авторы единодушны в том, что он один из самых крупных испанских поэтов XX века, но всегда замечают при этом, что жизнь его была бедна событиями. Что касается внешних событий жизни поэта, то их действительно было немного. Он редко покидал родную Андалузию: несколько поездок в Мадрид, два-три путешествия за границу.

Однако этот поэт, лирик и домосед, казалось бы, чуждый всякой политике, сумел выполнить свой гражданский долг в тяжелый час испытаний, когда в 1936 году международный фашизм развязал на его родине гражданскую войну. Молодая Испанская республика послала Хименеса своим представителем в Америку, и там он развил бурную деятельность в защиту правого дела народа: выступал на митингах и собраниях, организовывал сборы средств для обездоленных войной испанских детей и раненых республиканских бойцов.

После падения республики он не вернулся в Испанию, разделив

судьбу многих видных испанских писателей, поэтов, художников, ученых, деятелей культуры, покинувших страну в знак протеста против фашистского режима Франко.

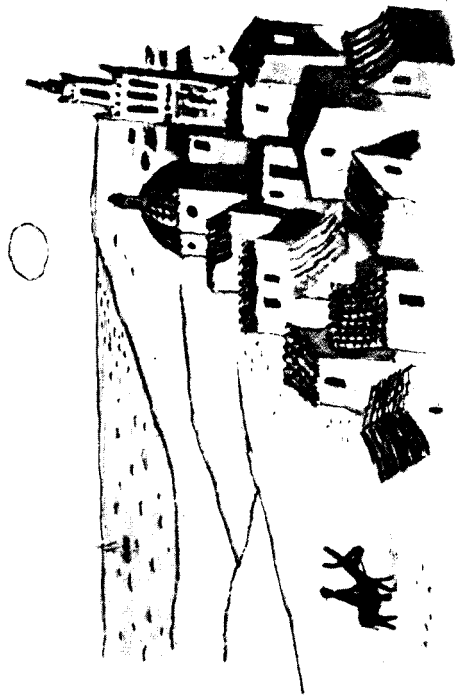
Поэту нельзя сказать, что жизнь Хуана Рамона Хименеса была однообразной и неяркой. Напротив, она была интересной, напряженной, увлекательной, заполненной самоотверженным творческим трудом, который венчался крупными успехами на его почти шестидесятилетнем поэтическом пути. Яркими вехами на этом пути были книги его стихов. Каждая из этих книг — а их свыше тридцати — открывала людям красоту и сложность жизни, прививала любовь к родине, к человеку, учила постигать мир и упорядочить собственные мысли и чувства, стремилась приобщить людей к «республике поэтов», как он любил говорить, сделать поэзию доступной для многих, внушить читателю, что только подлинное творчество может обнаружить его главное жизненное призвание, так же как автор «Платеро и я» обнаружил и обрел его в высоком мастерстве владения словом.



## СОДЕРЖАНИЕ

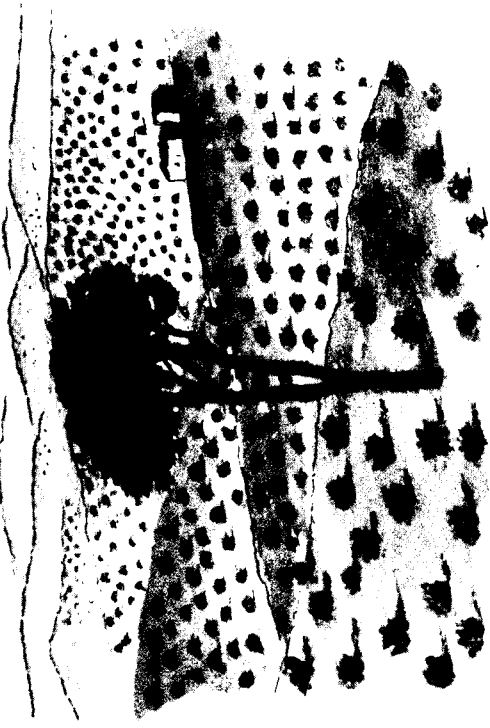
Платеро . . . . .	7
Кююшния . . . . .	8
Помешанный . . . . .	9
Белые бабочки . . . . .	10
Сужеречные игры . . . . .	11
Оаноб . . . . .	13
Багряный край . . . . .	15
Возврат . . . . .	16
Весна . . . . .	17
Апрельская идиллия . . . . .	18
Попугай . . . . .	19
Шелудивый пес . . . . .	21
Свобода . . . . .	23
Подруга . . . . .	24
Чахоточная . . . . .	27
Три старухи . . . . .	28
Повозка . . . . .	29
Сосна на вершине . . . . .	30
Колыбельная . . . . .	32
Заноза . . . . .	33
Колодец . . . . .	35

Г. Степанов



Ребенок и вода . . . . .	36
Лорд . . . . .	37
Придорожный цветок . . . . .	39
Старик с картинками . . . . .	40
Басня . . . . .	43
Хлеб . . . . .	45
Абрикосы . . . . .	46
Призрак . . . . .	49
Пилник . . . . .	51
Петухи . . . . .	53
Смерклось . . . . .	56
Она и мы . . . . .	57
Лето . . . . .	58
Воскресенье . . . . .	59
Песнь полевого сверчка . . . . .	60
В ночи . . . . .	63
Последняя жара . . . . .	64
Воробья . . . . .	65
Фейерверк . . . . .	67
Летний сад . . . . .	68
Луна . . . . .	71
Утки летят . . . . .	72
Пастух . . . . .	73
Умер кенар . . . . .	74
Октябрьский вечер . . . . .	77
Осень . . . . .	78
Пинито . . . . .	79
Гранат . . . . .	81
Эхо . . . . .	83
Бродячий бык . . . . .	85
Испуг . . . . .	87
Белая лошадь . . . . .	89
Дорога . . . . .	91
Нонбрьская идиллия . . . . .	92

Старый мул . . . . .	93
Рождество . . . . .	95
Три Короля . . . . .	97
Высокая ночь . . . . .	99
Карнавал . . . . .	101
Леон . . . . .	102
Ослики пестаных карьеров . . . . .	105
Цветы . . . . .	107
Смерть . . . . .	109
Разлука . . . . .	110
Памятник . . . . .	113
В печали . . . . .	114
<i>Г. В. Степанов. Рассказы о том, что увидели</i> хозяин и его ослик во время прогулок . . . . .	116



Для среднего и старшего  
школьного возраста

**Хуан Рамон Хименес**

**ПЛАТЕРО И Я**

*Андалузская элегия*

*ИБ № 4681*

Ответственный редактор *А. С. Ляуэр*. Художественный редактор *И. Г. Найденова*. Технический редактор *Н. Г. Мозова*. Корректоры *О. И. Иванова* и *Э. Л. Лобенфельд*.

Сдано в набор 12.12.80. Подписано к печати 27.07.81. Формат 70×108<sup>1/2</sup>. Бум. офс. № 1. Шрифт обыкновен. Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,6. Усл. кр.-отт. 12,6. Уч.-изд. л. 4,37. Тираж 50 000 экз. Заказ № 162. Цена 60 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр. М. Черкасский пер., 1. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7.

**Хименес Х. Р.**

**X46**

Платеро и я: Андалузская элегия/Пер. с исп. А. Гелескула; Послел. Г. В. Степанова; Рис. С. Бархина.—М.: Дет. лит., 1981.—127 с., ил.

60 к.

Любимая книга испанских детей. В эпизодах из жизни ослика Платеро раскрывается поэзия повседневной жизни простых людей Испании и ее суровой природы. Книга и веселая и печальная, в ней, по словам автора, выходящегося поэта Испании, «радость и горе находятся рядышком, как два уха у ослика».

70803—417

X-----402—81

M101(03)81

**И (Исп)**